

The background of the entire image is a dark, atmospheric night scene. It depicts a snowy urban environment with several multi-story apartment buildings. Some windows in the buildings are lit with a warm, orange glow, contrasting with the cool blue tones of the night. Bare, snow-laden tree branches are visible in the foreground and midground. A soft, warm light source, possibly a street lamp, is visible in the middle ground, casting a gentle orange glow on the snow. The overall mood is quiet and somewhat melancholic.

ДМИТРИЙ САВЧЕНКО

СКОЛКИ
ФЕВРАЛЯ



18+

Дмитрий Савченко

Осколки февраля

«Автор»

2026

Савченко Д.

Осколки февраля / Д. Савченко — «Автор», 2026

Марк Родионов в шестнадцать лет узнал цену потерь: сначала ушла мать, затем в уличной драке он убивает человека, защищая друга. Теперь у него две реальности. В одной – попытка склеить осколки разбитой жизни. В другой – тени прошлого, что тянут на дно. Сквозь годы, расстояния и обстоятельства он проносит образ Алисы – своей первой любви. Но когда кажется, что покой наконец обретен, приходит сообщение от нее. Порой жесткая, как удар ножа, порой пронзительная, как первое любовное письмо, эта история о том, можно ли сдержать обещание прошлому, не разрушив настоящее.

© Савченко Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Том 1	5
Пролог	5
Часть Первая «Два отца и два сына»	7
Глава 1	7
Глава 2	22
Глава 3	33
Глава 4	38
Глава 5	45
Часть Вторая «Два пути, одна дорога»	54
Глава 6	54
Глава 7	66
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Осколки февраля

Том 1

*«Иногда лучший способ погубить
человека – это предоставить
ему самому выбрать судьбу».*

Михаил Булгаков

Пролог

Он посмотрел в ее голубые бездонные глаза, смахнул локон рыжих волос с порозовевшей щеки и задумался о том, что ждет их дальше, если он сделает этот шаг. Она подняла на него робкий взгляд, некогда бойкая, дикая, упрямая девушка, снова чувствовала себя нежной хрупкой девочкой, отдавшей во власть судьбе и решению человека, что не отводил от нее своего пронзительного, заставляющего что-то в глубине груди сжиматься, взгляда.

Солнце садилось, каждая секунда превращалась в вечность утомительного ожидания, но такого сладостного и жгучего. Еще момент, одно решение, которое позволит слиться их судьбам на многие года или затушит зыбкое пламя самозабвенного союза.

Он мельком перевел взгляд на ее изрядно покусанные губы, она поймала этот взгляд. Они невольно приблизились друг к другу. Ей хотелось прильнуть к его груди, обхватить шею руками и никогда не отпускать. Он буквально чувствовал ее дрожь по всему телу и разделял ее мечты. Но они понимали, что это могло им многого стоить.

Наконец, он провел своей рукой по ее талии и, находясь в пьянящем от чувств состоянии, почти неосознанно потянул ее к себе, и она... конечно же, ответила поцелуем.

Свет в зале медленно угас, унося с собой последние кадры сладкой, приторной иллюзии. Фильм закончился, и тишину тут же взорвал шумный, нестройный гам поднимающегося зала. Со всех сторон доносились всхлипы и сдержанные вздохи – девушки торопливо смахивали предательские слезы со щек, в то время как их спутники, пряча зевоту в кулак, не скрывали облегчения: наконец-то эта слащавая, слезливая тягомотина осталась позади.

Я как всегда не спешил. Остался сидеть, пока суета вокруг не улеглась, пока последние пары не скрылись в арочном проеме выхода. Лишь тогда я медленно поднялся. Порой я нахожу некоторое удовольствие в романтических историях, но на сей раз все это «великолепие» показалось мне чересчур пафосным, слишком громким в своей эмоциональности. Да, красивый финал. Объятия, поцелуй на фоне заката, музыка, набирающая силу... Но куда делись их нерешенные проблемы? Где те недоговоренности и шероховатости, что остались за кадром?

И снова я, словно занудный архивариус, пытаюсь отыскать глубинный смысл в проходном коммерческом продукте. Не могу иначе. Для меня кино – это не просто развлечение. Это акт творения, послание, зашифрованное автором в пленке. Пусть даже это послание сводится к банальному: «Мне нужны деньги на новый «Кадиллак»». Я все равно буду упрямо твердить, что даже самое паршивое искусство – все же искусство. Просто уровень его диалога со зрителем находится где-то у самого плинтуса.

Погруженный в эти невеселые размышления, я аккуратно перешагнул через липкую лужу, оставленную пролитой колой, и прошел мимо валяющихся стаканчиков из-под попкорна, мысленно ворча на нечестолобивую и безалаберную современную молодежь. В двадцать

восемь лет я ворчу, как семидесятилетний старик. Видимо, неизбежный побочный эффект многолетней хромоты – она будто приковывает тебя не только к земле, но и к консервативному взгляду на мир, заставляя чувствовать себя динозавром, затерявшимся в новом, слишком шумном веке.

Хотя если попытаться быть честным и отринуть то идеализированное прошлое, что так любовно рисует наша память, – трава тогда не была зеленее. Мир не был добрее или проще. А мы были, пожалуй, еще глупее и наивнее, чем кажемся себе сейчас в своих приукрашенных воспоминаниях.

Я вышел на улицу, и меня обдало резким, колючим дыханием ноябрьского ветра. Он пробирался под одежду, заставляя ежиться. Как же тяжело, почти физически больно возвращаться из яркого мира экранного солнца и искусственного тепла в сырую, прозаическую реальность. Я не назову себя законченным эскапистом, но порой до тоски хочется хотя бы на мгновение перенестись куда-нибудь, где нет этой постоянной серости. В место, где единороги – не миф, а реальность, где радугу можно потрогать рукой, а политики говорят одну лишь правду. Короче говоря, в сказку.

Путь до дома предстоял неблизкий, но давняя любовь к уединенным прогулкам вновь взяла верх над здравым смыслом. Я тронулся в путь по промерзшему асфальту. Напоследок я обернулся и бросил взгляд на огромное, светящееся огнями здание кинотеатра.

И вдруг – чудо. Где-то на самом горизонте, в свинцовом одеяле туч, образовалась небольшая брешь. Тучи медленно, нехотя расступились, открывая сквозь разрыв чистое, холодное голубое «окно». И из него, словно благословение, хлынули ослепительные солнечные лучи. Они упали на мокрую мостовую, заливая ее золотым, почти нереальным светом, выхватывая из сумерек детали и краски.

Эх, словно портал в тот самый день – яркий, безмятежный, наполненный жизнью и надеждой. Я не смог сдержать улыбки и, прибавив шагу, засеменил по направлению к дому, целиком и полностью предавшись сладким, обжигающим воспоминаниям. Я знал, что очень скоро, вот-вот, увижу те самые глаза, о которых грезил все эти долгие годы.

Часть Первая «Два отца и два сына»

Глава 1

Июнь 2008 года – 12 лет назад

Мне всегда казалось, что моя настоящая, осознанная жизнь началась именно в тот день. Все, что было до него, – лишь смутный, промелькнувший одним мгновением кадр из неотретированной пленки детства. А потом наступила эта точка отсчета, и запустился маховик невероятных, судьбоносных событий.

Тот день был до одури солнечным и жарким. Воздух над асфальтом плавился, дрожа маревом. Детский лагерь... Боже, как же я ненавидел эти детские лагеря всей душой! Хотя сейчас, спустя годы, я бы отдал все, чтобы вернуться в тот зной, в тот запах хвои и речной воды, в те беспечные, ничего не ведавшие мгновения. Но тогда я ехал туда с каменным лицом и каменным же сердцем, полным протеста. Я даже не догадывался об истинной причине столь резкого и категоричного решения родителей – сплавить меня на все лето подальше от дома.

Мама собрала меня с непривычной, почти лихорадочной скоростью, что было совершенно несвойственно ее обычно обстоятельной и размеренной натуре. Уже тогда, в этой суете, можно было уловить тревожную ноту, понять, что за этим кроется что-то большее, чем просто летний отдых. Но я был слеп и глух, поглощенный юношеским эгоизмом и обидой.

Мама довезла меня до автобуса, где уже кипела суета вокруг других таких же «счастливиц», крепко, почти отчаянно обняла и поцеловала в щеку на прощанье. Ее губы были сухими от волнения. Я в последний раз, уже почти без надежды, пробурчал, что не хочу проводить три месяца вдали от дома, от нее, от друзей. Она улыбнулась какой-то странной, застывшей улыбкой и сказала, что три месяца пролетят незаметно и мы очень скоро увидимся.

Это была первая и самая жестокая ложь в моей жизни. Я не увидел ее, когда вернулся домой. Я не увидел ее ни через три месяца, ни через четыре... ни через год.

По возвращении меня ждали лишь «приятные» новости, о масштабе которых я не мог и помыслить. Это надломит меня, вывернет душу наизнанку, но не сломает окончательно. Я сумею оправиться, собрать себя по кусочкам, но это будет лишь первый, пробный удар судьбы. Тот самый, переломный момент, что разделит мою жизнь на «до» и «после», случится двумя годами позже – в один кошмарный день, пахнувший кровью, страхом и... нет, об этом позже.

Но все это были проблемы грядущего. А там, в том лагере, я по-юношески страдал от вещей, которые сейчас кажутся мне райскими, почти идиллическими мелочами: чуть пересоленный суп в столовой, обязательный тихий час (да, в той смене укладывали спать даже таких шестнадцатилетних лбов, как я), бесцельные прогулки по хвойному лесу и это постоянное, ни к чему не обязывающее общение, полное намеков и обещаний, которые, казалось, растянутся на всю оставшуюся жизнь.

Лагерь со странным названием «Савел» раскинулся в сосновом бору, где воздух был густым от аромата нагретой хвои и соленого бриза, долетавшего с моря. Территория обнесена покосившимся забором, выкрашенным в веселую сине-зеленую полоску, но краска уже облупилась, выдавая возраст лагеря. Центральная аллея, усыпанная мелким гравием, вела от ворот к главному корпусу – двухэтажному зданию с широким крыльцом, где по вечерам собирались вожатые. Домики отрядов, выстроенные в ряд, напоминали аккуратные скворечники: деревянные, выцветшие от солнца, с резными ставнями. Внутри – железные кровати с ватными потрепанными матрасами, тумбочки с застрявшими в ящиках камешками и ракушками, а на стенах

– следы прошлых смен: выцарапанные имена, наклейки с поп-группами и криво наклеенные постеры.

Жизнь по жесткому расписанию всегда была для меня неиссякающим источником тоски, и эта привычка не отпускает меня до сих пор. Но в лагере распорядок дня возводился в абсолют, становился сакральным ритуалом, чем-то вроде новой Библии, на которую молились все вожатые. Малейшее отклонение от священного графика грозило им неминуемой карой свыше от начальства, а потому мы вставали, умывались, маршировали на зарядку и поглощали пищу с точностью швейцарского хронометра. И не дай бог кому-то вздумается задержаться в душевой кабинке дольше отпущенных сверху пяти минут – за этим следили с орлиной, почти религиозной строгостью.

Этот распорядок был высечен в камне и выглядел примерно так:

7:30 – Жестокое пробуждение под оглушительный рев вожатого: «Рота, подъем!», который усугублялся дурацкой, до зубной боли знакомой песней, горланящей из динамиков допотопного магнитофона. Звук был таким пронзительным, что, казалось, раскалывал утреннюю зарю.

8:00 – Морально-физическая зарядка на плацу. Младшие отряды, сонные и покорные, лениво тянули руки к солнцу, а старшие, включая меня, откровенно сачковали, изображая бурную деятельность и пряча зевоту в ладонях.

9:00 – Завтрак в шумной столовой, насквозь пропахшей компотом и манной кашей – пресной, пузырящейся массой, которую ели лишь самые отчаянные голодающие или те, кто уже махнул на все рукой.

10:00 – 13:00 – Мероприятия. Футбол на выжженном поле, вялый волейбол, мастер-классы по рукоделию, от которых пахло советским детством, или «веселые старты» – нелепые спортивные состязания, где подростки из средних отрядов снисходительно поддавались малышне, а старшие и вовсе в них не участвовали, предпочитая роль циничных зрителей, с сигаретой, зажатой между пальцами, поглядывающих на действо из-за угла.

13:30 – Обед. Неизменная триада: жидковатый суп, котлета неопознанного происхождения и макароны, всегда слипшиеся в один огромный, безвкусный ком. Прошли годы, а я до сих пор физически помню их унылый, пресный вкус.

15:00 – 16:00 – Тихий час. Священное время всеобщей немоты, во время которого старшие отряды тайком, как ценнейший артефакт, передавали по рукам единственный на весь домик плеер с потрепанными наушниками и шепотом обсуждали записки, полученные из девичьих домиков.

16:30 – Полдник. Сладостная передышка в виде булочки с загадочными подпалинами и какао, по консистенции напоминающего жидкий грунт.

17:00 – 20:00 – Свободное время. Золотые песчинки в потоке регламента. Кто-то азартно рубился в настольный теннис, кто-то кучковался по домикам для душевных бесед, а самые отчаянные уходили за периметр территории, чтобы поискать на свою голову приключений.

20:00 – Ужин. Поглощение риса с сосиской, плавающей в дешевом кетчупе.

21:00 – Кульминация дня: дискотека в пыльном актовом зале или костер у главного домика. Под разбитую гитару горланили «Кино» и «Короля и Шута», пытаясь докричаться до чьей-то души. Малышей в это время сгоняли в импровизированный «кинотеатр» – комнату с телевизором на тумбочке.

22:30 – Официальный отбой. Но лишь на бумаге. Только это время не было подвластно строгой дисциплине. На деле же начинался самый важный, нигде не прописанный час – час шепотом произнесенных тайн, обсуждения прошедшего дня и признаний в том, кто кому нравится. Его продолжительность была плавающей и целиком зависела от энергетики вечера: если народ еще плясал на дискотеке, отбой сдвигался, а если все дружно сидели у костра, засиживались и до полуночи. В начале смены, пока все ребята были еще робкие и стеснительные,

танцы затухали, едва успев начаться, и все дружно тянулись к огню. А ближе к концу, когда все успели подружиться и привыкнуть друг к другу, дискотека могла длиться вечность, отодвигая сон и костры на самый задний план.

После вечернего мероприятия загорались фонари, лагерь затихал, и только редкий смех из домиков да треск цикад нарушал эту приятную тишину.

За лагерьем же располагались бескрайние поля с высокой травой, где прыгали кузнечики и прятались ящерицы. В пяти минутах ходьбы – небольшое озерцо, мутное и теплое, где купались, когда не было выезда на море. А вот до самого моря – «целых» два километра, и ходить туда запрещали: дорога шла через оживленную трассу. Поэтому только два раза в неделю лагерь грузился в старый автобус «ПАЗ» с сильно потрепанными сиденьями и ехал на пляж.

Море было огромным, соленым, с волнами, которые сбивали с ног малышей, а старшие ныряли с пирса, демонстрируя удаль. На берегу – песок, смешанный с галькой, киоск с мороженым «Фруктовый лед» и постоянно злой спасатель, гонявший тех, кто заплывал за буйки.

Детей же вожатые полуофициально делили на три когорты:

– 10– 12 лет – малыши, шумные, постоянно в царапинах и ссадинах, собирали жуков и играли в «казаков-разбойников».

– 13– 14 лет – средние, уже с претензией на взрослость, но еще в дурацких кепках и с пакетами чипсов из ларька.

– 15– 16 лет – старшие, курили, спорили о музыке и влюблялись так драматично, будто это последнее лето в их жизни.

В те редкие, выкроенные между строгими ритуалами лагерной жизни часы свободы, которых, на мой взгляд, катастрофически не хватало, я находил спасение в рисовании. Собираясь впопыхах, я не сумел захватить с собой ни единой книги, но в последний момент сунул в рюкзак небольшой, потрепанный по углам альбом. Я заполнял его карандашными набросками, и меня до физической тоски мучила нехватка холста и красок.

Мама часто говорила, что у меня талант (впрочем, какая мать не скажет это своему ребенку хоть раз?). Отец же лишь фыркал и не разделял ее восторгов, лелея в глубине души мечту о сыне с трезвым техническим складом ума, а не о возвышенном мечтателе-гуманитарии. Впрочем, я и сам никогда не обманывался насчет профессионального будущего. Рисование было для меня не амбицией, а иным, более глубоким способом бегства от реальности – возможностью полностью погрузиться в работу, утонуть в собственных фантазиях, где все подчинялось лишь моей воле.

До того лета я писал исключительно пейзажи, пытаясь запечатлеть неуловимую, ускользающую красоту природы и каждый раз терзаясь горьким осознанием, что мои жалкие попытки – лишь бледная тень, кривое зеркало, неспособное передать и сотой доли ее великолепия. И все же этот процесс дарил мне странное, почти медитативное умиротворение.

Незадолго до отъезда во мне проснулся интерес к портретам. Возможно, эта тяга появилась благодаря матери, которая, разглядывая мои работы, с легкой грустью говорила: «Вот бы и мою увядающую красоту ты мог перенести на холст, пока она не канула в лету». Я бесконечно любил маму, но привычно пропускал ее слова мимо ушей, пока однажды в пыльном журнале не наткнулся на репродукцию – автопортрет Рембрандта ван Рейна.

Полотно было пронизано глубокой, почти осязаемой печалью, тоской, которую иначе как мрачной было и не назвать. Но эти глаза... Живые, умные, обрамленные паутиной морщин, они смотрели на меня прямо с гляцевых страниц, видели насквозь. Позже я глубоко проникнусь и другими его работами, но в тот миг я замер, целиком поглощенный этим единственным изображением, потрясенный немыслимой силой эмоций, что исходила от него.

Загоревшись новой идеей, я начал со срисовывания лиц – с потертых наклеек, обложек тетрадей и кассет VHS. Но однажды мой сосед по бараку, выпытав у меня о моем увлечении и разглядев одну из работ, робко попросил перенести на бумагу их старую семейную фотогра-

фию. Я пытался отговорить его, объясняя, что я всего лишь ученик и результатом будет лишь простой карандашный набросок на желтоватой бумаге. Но он настоял и, к моему же величайшему удивлению, остался не просто доволен, а искренне восхищен тем, что получилось.

За то лето через мои руки прошла целая вереница таких фотографий. Легким (хотя на деле – невероятно сложным) движением карандаша я пытался перенести на бумагу не просто черты лиц, а частички чужих историй, застывшие во времени. Некоторые даже платили мне за это скромные суммы, от которых я, разумеется, не отказывался. Мой навык рос не по дням, а по часам – разница между первой и последней работами была столь разительна, что мне пришлось с виноватым видом перерисовывать тот самый первый «заказ» для соседа. Но я был только рад; это занятие приносило мне тихую, глубокую радость, и, пожалуй, было единственным, что скрашивало мое существование в те дни.

Вторым неожиданным спасением стало негласное сближение с одним из вожатых – его имени я уже и не припомню, но все звали его Заяц. Прозвище родилось из-за его небольшого косоглазия: один глаз всегда смотрел чуть левее, чем нужно, придавая его лицу выражение постоянной, немного отстраненной задумчивости. Сначала его дразнили Косым, потом – Косым Зайцем, пока в итоге не остался просто Заяц.

По воле родителей мне предстояло провести в лагере подряд все три смены, и, как язвительно заметил дед, «чалиться» в этом месте мне пришлось почти три долгих месяца. Люди вокруг менялись каждые двадцать четыре дня, превращаясь в бесконечный калейдоскоп чужих лиц. Поэтому возможность завязать хоть какое-то постоянное знакомство с тем, кто разделит со мной весь этот срок, казалась на редкость удачной идеей... По крайней мере, отчасти.

– Марк, – говорил мне девятнадцатилетний Заяц, выпуская очередную струйку сигаретного дыма – ты еще молодой, вот подрастешь и все тебе станет ясно.

Тогда я верил его словам, верил, что действительно, как только я доживу до титанически невероятно огромного девятнадцатилетнего возраста, то сразу повзрослею и все пойму. Но даже сейчас мне кажется я так до конца и не повзрослел и так ничего до конца и не понял. Как и все, наверное.

Однако беседы с ним меня хоть как-то интересовали. Я навсегда запомню тот факт, что именно он был первым, кто вложил в мою руку сигарету (так и не могу избавиться от пагубной привычки за столько лет), но он же научил меня тому, что не всегда стоит слушать тех, кто старше, ведь возраст не показатель ума. Нет, он не говорил об этом прямо, я понимал это, становясь старше и осознавая, какую чушь он нес тогда – в курилке летнего лагеря – и как безусловно я верил каждому его слову. Пожалуй, стоит сказать ему спасибо за формирование критического мышления.

Но в этом общении, безусловно, имелись свои неоспоримые плюсы. Заяц оказался единственным островком просвещения в этом море вынужденного безделья, единственным, у кого водились хоть какие-то книги. Когда я ознакомился с их списком, к моему сожалению оказалось, что большинство из них я уже прочел: уютного «Хоббита», волшебного «Гарри Поттера» (почему-то у Зайца была только третья часть), сборник пугающих и блистательных рассказов Герберта Уэллса, философскую притчу «Трудно быть Богом» братьев Стругацких. Однако в этот, в целом предсказуемый список, словно заноза, впивалось одно совершенно инородное произведение – «Тереза Ракен» Эмиля Золя.

Подметив незнакомый корешок, я проглотил книгу за несколько дней, а затем, с напускной, юношеской претенциозностью, пытался завести дискуссию о том, что это – не более чем изящная, но вторичная французская калька на мрачную и непревзойденную классику Достоевского. Увы, вступить в полемику со мной было решительно некому, так что мои философские порывы быстро утихли, и я с наслаждением погрузился в очередное перечитывание истории о мальчике, который выжил.

Что касалось местного «кинозала» для малышей – еще одного важного пункта лагерной программы – то ответственным за сие культурное мероприятие был как раз Заяц. Он с искренней радостью брал меня себе в помощники, чем спасал от участия в нелепых вечерних тусовках и обязательных танцах. Наша миссия заключалась в том, чтобы загнать шумную ораву мелюзги в комнату с плотно занавешенными окнами, где рядами стояли два десятка скрипучих стульев, выстроенных перед монументальным, невероятно увесистым телевизором квадратной формы, настоящим реликтом ушедшей эпохи.

На его макушке, словно корона, горделиво возлежал очень старый DVD плеер (у которого к тому же был приемный отсек еще и для VHS кассет). Вид этой потрепанной коробки вызывал у некоторых детей немой восторг – дома у многих уже вовсю стояли домашние кинотеатры и новенькие дисковые плееры. Но я, будучи одним из немногих несчастных, у кого дома пылился раритет в виде видеомэгнитофона, оставался к его виду глубоко равнодушен.

Мое равнодушие сменилось легким ужасом, когда выяснилось, что на все мое трехмесячное заточение в распоряжении имелось ровно шесть дисков с фильмами. И все они были эпизодами «Звездных Войн». О, как же я люто ненавидел тогда эти фильмы! Возможно, в первые недели отношение к ним было еще вполне терпимым, но, когда ты вынужден смотреть одно и то же изо дня в день (а по истечении шестидневного цикла все начиналось сначала), можно возненавидеть даже шедевры самого Мартина Скорсезе.

В будущем я, конечно, пересмотрю свое мнение, но тогда мы с Зайцем, забившись в самый дальний, темный угол зала, тихо корчились от смеха, разбирая нелепости сюжета, «смертельную» меткость штурмовиков, неспособных попасть в героев даже в упор, и, конечно же, с упоением разыгрывали знаменитую сцену на бис, под восторженный гогот малышей.

– Ты убил моего отца! – пафосно кричал я в сторону Зайца, изображая немыслимые страдания.

– Нет... – отвечал он, наклоняясь ко мне и набирая в легкие побольше воздуха. – Я твой отец. – Он произносил это максимально низким, раскатистым голосом, подражая механическому дыханию Вейдера, поднося к лицу сжатую ладонь.

После чего мы оба, в унисон с Люком Скайуокером на экране, выдыхали оглушительное, пронзительное: «НЕЕЕТ!» – и я с трагическим видом валился со стула (пару раз по чистой случайности фокус не удавался, и я грохался на пол по-настоящему, что вызывало у юной аудитории взрыв неподдельного, дикого восторга).

Почему же я добровольно выбирал многочасовое заточение в компании ненавистных мне космических саг вместо шумных вечерних посиделок? Все упиралось в мою натуру. В том возрасте я был таким затворником в собственной раковине – зажатым, неловким парнем, чьими лучшими друзьями были книги и киноленты. Во мне уже тогда прорастали первые ядовитые ростки снобизма, заставлявшие свысока смотреть на простое, незамысловатое веселье.

Весь период обучения в младших классах я проходил с густой шапкой каштановых кудрей, что служило неиссякаемым источником насмешек одноклассников. Это больно ранило и наложило глубокий отпечаток на мою самооценку – и на годы вперед я стригся очень коротко, пытаясь скрыть ту самую уязвимость. Хотя уродом меня назвать было нельзя: высокий рост, выразительные черты лица, густые волосы и светлые голубые глаза. К тому времени надоедливые подростковые прыщи уже сдали свои позиции, и имея я чуть больше уверенности, мог бы легко распрощаться с грузом старых комплексов. Но вместо этого я предпочитал проводить дни, сгорбившись над книгой в старом, растянутом, но до боли любимом джемпере, добровольно возводя стену между собой и остальным миром. Такая отстраненность вряд ли могла вызвать у кого-то желание социализироваться.

Потому, помимо редких обменов фразами и просьб что-нибудь нарисовать, никакого другого общения, кроме как с Зайцем, у меня не водилось. Да я и не стремился к нему. Где-то в глубине души я подсознательно понимал: стоит мне найти здесь друзей, начать искренне

веселиться, как весь мой тихий, но принципиальный протест против этого заточения пойдет насмарку. Да, подростковый максимализм творит с логикой поистине чудовищные вещи.

Соответственно, перспектива лагерной дискотеки не вызывала у меня ничего, кроме содрогания. Мысли о необходимости общаться с незнакомыми людьми, танцевать под приторную музыку, да еще и в ярко освещенном помещении – все это вызывало у меня какой-то затаенный глубинный страх.

Но однажды Заяц все-таки сумел подобрать ключик к моему упрямству. Он предложил променять очередной просмотр звездных войн на «настоящую тусовку», смутно намекнув, что раздобудет пару бутылок пива, и уж тогда нам точно будет не до скуки. Поменявшись сменой с другой вожатой, он действительно явился с желанной добычей. Однако веселья не случилось. Мой первый глоток оказался отвратительным – горьким, кислым пойлом, которое и близко не стояло с тем божественным нектаром, каким его малевали в фильмах (в будущем, впрочем, я свое мнение пересмотрю). И едва мы начали ощущать смутные проблески той самой «проникающей в душу» радости, нас тут же вычислили по запаху и поволокли на ковер. С Зайца, кажется, даже вычли штраф из зарплаты. Меня же просто отчитали и пригрозили немедленно сообщить все родителям. На тот момент это прозвучало как самый страшный в мире приговор – я был уверен, что мать просто уничтожит меня за такой проступок. К алкоголю в лагере я больше не прикасался.

Время текло мучительно медленно. Ни одно лето в моей жизни не тянулось так невыносимо долго, как первые два месяца в лагере «Савел». Каждый день был похож на предыдущий, образуя одно бесконечное, монотонное полотно. Но вот наступила третья смена, и все перевернулось с ног на голову.

– Пора собирать малышню, – сказал мне Заяц, практически втирая бычок в импровизированную пепельницу из жестяной банки.

– Ты гасишь огонь или пытаешься его добыть? – пошутил я, но он лишь посмотрел непонимающим взглядом.

Мы пошли открывать дверь в «кинотеатр».

– Ни за что не угадаете, что у нас сегодня в программе! – приветствовал Заяц ребятешек, которые впервые входили в эту дверь.

– Зато я угадаю... – произнес я вяло с недовольной миной на лице и прошел внутрь, не дожидаясь пока зайдет молодняк.

Качаясь на стуле, я листал свой альбом, вглядываясь в наброски на оставшихся листах (большинство я вырвал, чтобы отдать довольным заказчикам их перерисованные фотографии): сосновый бор – я нарисовал его в один из первых дней – поспешный, корявый рисунок все равно умудрялся передавать дух этого места, мне он очень нравился. На следующей странице были ворота лагеря. Любые строения давались мне непросто, если я рисовал их карандашом, а не красками. Каждый раз я сочувствовал архитекторам, пытаюсь вывести хоть что-то похожее на бумаге. Ужасный рисунок. Вдруг я вздрогнул.

– Давным-давно в далекой-далекой галактике! – заверещал телевизор под рукоплескания детей.

– Давным-давно, но каким-то образом в будущем... – прошептал я сам себе под нос избитую шутку и продолжил листать. На очередном листе была срисованная фотография двух девчонок. Им рисунок не понравился, и они отказались его забирать. Хотя как по мне получилось неплохо. Возможно, даже слишком похоже, поэтому и не понравилось. Наверное, я слишком ярко подчеркнул мощный подбородок одной из них и не совсем маленький нос другой. В тот момент я понял, что, возможно, реалистичность передачи реальности не главное в живописи.

В это время Заяц что-то мне шептал и подшучивал над фильмом, но я его уже не слушал. На третий месяц нашего знакомства его треп превратился для меня в белый шум. Заяц был тем человеком, который мог болтать и болтать, при этом ему совершенно не было дела до того, слушают его или нет. Вдруг он замолк, а затем сделал замечание шумной парочке в первом ряду, активно обсуждающей, какой же дроид все-таки полезнее в доме – ремонтный или протокольный. Воистину самый настоящий спор гуманитария с технарем. Я ухмыльнулся и продолжил. Морской пейзаж – как же отвратительно у меня получались вода и волны. Айвазовский чертов гений, какому морскому дьяволу нужно продать душу, чтобы так живо передать эту поистине впечатляющую стихию?

Я откинулся на стуле еще сильнее, до опасного упора, так что мои ноги едва касались пола, а спинка с тихим скрипом упиралась в прохладную стену. Это был рискованный трюк, суливший неминуемое падение, но за бесчисленные часы просмотров я сросся с этим стулом, достигнув с ним почти что дзена – мы были единым, шатким, но удивительно устойчивым организмом.

Сквозь туманные размышления о маринах Айвазовского я неожиданно погрузился в глубины памяти – в тот день, когда мама впервые привела меня в Третьяковскую галерею. Уловив во мне искру интереса к живописи, она решила показать мне святыню – во всяком случае ту, до которой можно было добраться на метро и автобусе. Сама она в искусстве не смыслила и, пытаясь скрыть скуку, прикрывала рот рукой, зевая перед шедеврами, перед которыми замирали другие посетители. Не могу сказать, что и меня тогда охватывал священный трепет перед каждым полотном, но невидимый заряд, семя будущей страсти, которое было посеяно тогда глубоко в душу – его хватило на многие годы вперед.

Второй раз я оказался там уже с классом, на обязательной школьной экскурсии. Я шел с предубеждением, уверенный, что повторение не произведет и половины прежнего эффекта. Как же я ошибался. Все изменил гид – немолодой мужчина с горящими глазами, который рассказывал о красках, стилях, судьбах художников с таким жаром, что застывшие изображения начинали дышать, двигаться, жить. Простая прогулка по залам превратилась в захватывающее путешествие по десяткам параллельных вселенных.

Одноклассники моего внезапного энтузиазма, увы, не разделяли. Вскоре меня прозвали Художником. Почему это считалось обидным – известно лишь высшим силам. Поскольку на всю школу висела одна-единственная, нарисованная акварельными красками картина – детский рисунок маленького мамонтенка с соответствующей табличкой, стоило мне пройти мимо с ребятами, как они с громким хохотом начинали в него тыкать пальцами: «Марк, смотри, не пропусти шедевр!», «Как думаешь, в какую сумму оценивают эту работу?», «А ты так сможешь?». Шутка следовала за шуткой, пока кто-то (скорее всего мой друг Мишка, это было в его духе) не стер последние буквы на табличке и не исправил маркером «мамонт» на «Марк». Так начался коллапс, превративший Художника в Мамонтенка. В младших классах это прозвище продержалось недолго, но по глупости я однажды поведал эту историю Зайцу (как раз в тот злополучный вечер с пивом), который, видимо, обрадовался пополнению в нашем импровизированном зоопарке и разнес ее по всему лагерю.

И вот, только я начал надеяться, что новая смена избавлена от знаний о нашем с ним зверином дуэте, как мой дорогой товарищ грубо выдернул меня из потока воспоминаний своим коронным окриком:

– Мамонтенок, плеер заело! Хлопни по нему покрепче!

Мое сознание резко дернулось и вернулось из глубин памяти в душную реальность кинозала. Я моргнул, переводя взгляд на экран: картинка и вправду застыла на самом интересном месте – посреди захватывающей гонки по пустыне, что вызвало волну возмущенного шепота и нетерпеливых вздохов среди юной аудитории. Казалось, вот-вот назреет бунт, и меня, как

главного виновника задержки, разорвут на части, если я сию же секунду не верну им право лицедреть триумф юного Энакина Скайуокера.

С неохотой я поднялся со своего шаткого трона. Я медленно, словно сквозь густую толпу на вокзале, пробираюсь сквозь строй возбужденных зрителей, чувствуя на себе десятки осуждающих и умоляющих взглядов. Глубоко вздохнув, я с привычной силой ткнул кулаком по боку DVD плеера – повинуюсь старому, проверенному жесту, который всегда срабатывал. Аппарат фыркнул, и гонка на экране продолжилась, вызвав всеобщий вздох облегчения.

Я уже начал разворачиваться, всем существом предвкушая возвращение в свой темный, безопасный угол к косому товарищу, как вдруг мой взгляд на что-то наткнулся. Зацепился. Остановился.

Старшим и средним отрядам формально не возбранялось приходить на эти просмотры. Скорее, это младших не пускали на «взрослые» тусовки, и потому для них придумали это отвлекающее мероприятие. Ребята постарше ехали в лагерь в основном ради вечерних костров и дискотек, и томиться в душной комнате над шестью заезженными фильмами ни у кого не было ни малейшего желания. Я сам напросился в помощники к Зайцу исключительно ради железного, неоспоримого алиби, чтобы не прослыть законченным социофобом и иметь вескую причину избегать главных мероприятий. Кто-то даже поговаривал, что мне доплачивают за помощь в лагере. И если здесь и оказывались редкие «средние» или «старшие», то это были обычно тихие, замкнутые одиночки, которых после пары таких вечеров кто-нибудь из вожатых все же уговаривал присоединиться к остальным.

Но сейчас здесь была она.

Девочка, чье лицо я впервые увидел в этой темной комнатухе, освещенное лишь мерцающим, желтоватым свечением экрана. И даже в этом скудном, обманчивом свете, сквозь призму моего постоянно паршивого настроения, эти глаза поразили меня в самое сердце. Темно-карие, почти черные, бездонные – я словно провалился в них, как в космическую бездну, и оказался в совершенно новом измерении. Именно тогда, в шестнадцать лет, я впервые на собственной шкуре ощутил, что такое любовь. Я познал это величайшее и жесточайшее из чувств почти за месяц до того, как узнал, что мама меня бросила, и без малого за два года до того, как своими руками лишил жизни другого человека.

В тот день я не подошел к ней, а лишь вернулся на свое место. Я не заметил ее сразу, потому что она зашла после меня и затем села на первый ряд. Но осознав, что малышам за ее спиной будет ничего не видно, она уселась на пол, уперлась спиной в стул, тем самым полностью скрывшись от моего взора.

Я не заговорил с ней и на следующий день, когда она пришла на просмотр второй части. Мне было так страшно и неловко. Ни одна девочка в школе не вызывала во мне ни толики того трепета, что я испытывал, глядя на эту незнакомку. Сердце мое, казалось, пылало жаром сотен вулканов. Первая влюбленность самая яркая, самая безбашенная и самая страшная. Заяц начал замечать, что киновечера я начал посещать с большим энтузиазмом, и несложно было догадаться почему.

– Да подойди ты уже, – сказал он мне во время просмотра четвертого эпизода «Звездных войн», – не дрейфи.

– К кому? – я попытался изобразить недопонимание.

– Ой, кому ты городишь? Я косой, а не слепой, чувак. Я все вижу, – он начал говорить громче, – я про ту милую дево...

– Ладно, ладно, тише, – осадил я его умоляющим тоном, – я боюсь, понял?

– Не дрейфи, Мамонтенок, Хан Соло склеил принцессу Лею, а ты чем хуже?

– Лея будет не с Люком?! – к нам обернулся самый ближний из «малышей». Глаза и рот его были широко раскрыты.

– Цыц! Не лезь, малой, смотри давай – шикнул на него Заяц, и тот сразу отвернулся, с глубокомысленным выражением лица, пытаясь предугадать последующие события фильма.

– Я даже не знаю, как ее зовут и сколько ей лет. Вдруг она сильно младше – попытался найти оправдание я, – смена новая, я еще ни с кем не знаком, чтобы узнать.

– Марк, – Заяц вдруг стал серьезным, – для этого и подходят к людям, чтобы узнать их имя.

– Но возраст спрашивать как-то неудобно.

– Тебе мама такое сказала?

– Ну... да, – ответил я, не сразу догадавшись, что это шутка. Мой товарищ закатил глаза.

– Ее зовут Алиса, ей пятнадцать, – сдался он.

– Что? Откуда ты знаешь?

– Я же вожатый, идиот, у меня есть списки.

– Точно, – мозг мой в тот момент просто отказывался работать.

Несмотря на уговоры приятеля, я так и не подошел к ней тогда, и на следующий день тоже. Когда пришла очередь шестого фильма, я уже понимал, что, вероятнее всего, она не придет сюда больше. Какой человек в здравом уме (кроме меня) будет по кругу пересматривать эту космооперу каждый вечер? Поэтому я решил действовать. Дождавшись очередного триумфа медвежат над галактической империей, когда вся мелкота поспешила покинуть «зал», я наконец подошел к ней.

– Привет, – выдавил я, пытаясь одолеть ком в горле и выглядеть хоть немного увереннее. Руки предательски дрожали, и я был абсолютно уверен, что на моем лице крупными буквами выведено: «КРИТИЧЕСКАЯ ПАНИКА». – Меня зовут Марк.

– Да, я знаю, – ее улыбка оказалась легкой и мгновенной. Девушка была на голову меня ниже. – Я Алиса.

– Э-э-э... – мое красноречие, и без того скудное, окончательно иссякло. – Откуда?

– Вожатый тебя все время зовет то Марк, то Мамонтенок, вы там довольно громко обсуждаете все на свете. – пояснила она, и в ее тоне, несмотря на внешнюю доброжелательность, я уловил едва заметные нотки упрека. – Я логично предположила, что по документам ты все-таки Марк.

– А, да? – я засуетился, чувствуя, как проваливаюсь. – Извини, просто я здесь уже третью смену подряд. Честно говоря, меня немного тошнит от этих бесконечных космических баталий, вот мы и... отвлекаемся, как можем.

В ту же секунду по ее лицу я прочел страшную истину: я только что с пренебрежительной глупостью отозвался о ее любимой саге.

– То есть «Звездные войны» тебе не нравятся? – одна ее бровь изящно поползла вверх.

– Не то чтобы совсем не нравятся! – поспешно начал я выкручиваться, чувствуя, как почва уходит из-под ног. – Просто, понимаешь, когда смотришь их в пятый раз подряд... – я замолчал, увидев по ее взгляду, что для нее пятый раз – не предел, а лишь начало большого пути.

– Тогда чего ты тут сидишь? – ее вопрос прозвучал не как вызов, а с искренним, неподдельным любопытством.

– Я, ну... помощник вожатого, – попытался я натянуть на себя тогу значительности и сразу же переборщил с важностью в голосе. – Держу молодежь в узде, так сказать.

Она окинула меня оценивающим, немного насмешливым взглядом, ясно давая понять, что, учитывая мой возраст, заявление о «молодежи» звучало более чем самонадеянно.

– Ладно, Марк, нам пора готовиться к отбою, – она одарила меня еще одной, на этот раз прощальной, улыбкой. – Приятно было познакомиться.

И она ушла. А я остался стоять посреди зала, стараясь запечатлеть в памяти каждую черту ее лица, пока образ не начал таять. Длинные смоляные волосы, собранные в высокий хвост, аристократически бледная кожа, тонкие черты лица, нос с еле заметной изящной горбинкой и крошечная родинка слева, под самой губой.

Я очнулся только тогда, когда Заяц позвал меня помочь закрывать комнату. Мозг, будто раскаленный двигатель, тут же запустил анализ ситуации. Требовался следующий шаг. Столь напряженной аналитической работы мой разум, кажется, не знал никогда. И через несколько секунд озарение снизошло на меня. Я схватил одну из коробок с диском.

– Не волнуйся, завтра верну, – бросил я в ответ на немой вопрос в глазах товарища.

– Я за них, вообще-то, материальную ответственность несу, – напомнил он.

– Мне на одну ночь.

– На кой черт? Под подушку прятать будешь? Не посмотрелся еще?

– Дай, ладно?

– Денежный залог оставишь? В курсе, сколько они сейчас стоят?

– Заяц, хватит нудеть, – я вдруг сориентировался. – Мне нужна только коробка. Сам диск оставляю, хорошо?

Заяц посмотрел на меня с внезапным пониманием.

– А, ну теперь ясно, – многозначительно подмигнул он. – Бери.

Но когда я выбрал нужную коробку, его лицо снова выразило полное недоумение.

– М? – ответил я его вопросительному взгляду.

– То есть ты взял не ту, где принцесса Лея в золотом бикини, а эту... с этими двумя роботами? – он хмыкнул. – Любопытные у тебя вкусы, Мамонтенок. Не осуждаю, конечно! – Он расхохотался так громко, что я испугался, как бы на шум не сбежался весь лагерь.

– Иди ты, Заяц, – буркнул я, окончательно поняв его намеки, и поспешно ретировался.

На следующий день, едва началось свободное время, я устроился в укромном уголке и принялся срисовывать двух дроидов с обложки в свой альбом. Эта идея казалась мне гениальной – я представил, как поражаю ее своим искусством, и этот жест сгладит вчерашнее неловкое недоразумение. В самых смелых мечтах я уже дарил ей ее собственный портрет, но без фотографии это было пока невозможно.

Однако, к моему великому разочарованию, этим вечером ее в кинозале не было.

– Осадила меня за то, что мне надоело пересматривать одно и то же, при этом сама почему-то на второй круг не пришла, – делился я негодованием с Зайцем.

– Что, дроиды не смогли унять твою тоску ночью?

– Заяц, я серьезно!

– Я тоже серьезно, попробуй Лею!

– О боже, – я закрыл лицо руками.

В последующие два дня Алиса так и не появилась на кинопросмотре. Днем же к ней подойти я не решался, она постоянно была в окружении ребят, с которыми я был не знаком. Честно говоря, к третьей смене я настолько был вымотан наплывом новых людей, что и не пытался с кем-то разговаривать, довольствуясь компанией Зайца.

– Я сегодня сам справлюсь с младшими, – сказал мне Заяц, когда я в очередной раз вставлял диск в DVD плеер, – а тебе стоит пойти на танцы.

– Почему это?

– Потому что она там, идиот.

– И что?

– И то!

– Но я...

– Иди уже, Ромео!

До сих пор не понимаю, как у него это вышло, но я взял и действительно пошел. На улице я глубоко вдохнул. Этот воздух вечером посреди леса... Не передать словами, каково было там. Обогнув главное здание, я оказался перед дверью в местный клуб. Изнутри уже доносились довольные возгласы, смех и музыка. Я собрался с мыслями и вошел внутрь.

«Тусовка» шла полным ходом – вожатые уже вытащили из подсобки древний магнитофон с колонками, обмотанными изолентой, и поставили его на выделенный под это стол. Динамики хрипели, но музыке это не мешало – из них звучали то «Тату», то «Руки вверх!», то «Звери», а иногда вдруг прорывался «Черный бумер» – и тогда вся толпа взрывалась криками. Отечественных артистов иногда подменяли иностранные хиты, особенно было много треков группы «The Prodigy». Медляков не было. Вожатые, наученные опытом первых смен – что стоит заиграть медленной песне, все тут же смущенно сбегает с танцевальной зоны и ждут – выкинули их все из программы и оставили только зажигательную попсу.

Пол в клубе был деревянный, потрепанный сотнями ног, липкий от разлитой газировки. На стенах – гирлянды из флажков и остатки воздушных шаров с прошлого года. Окна распахнуты настежь, но внутри все равно было душно – смех, крики, запах пота, дезодоранта и приторных духов. Младших тут не было, зато средние уже всю «зажигали» – кто-то пародировал движения из клипов, кто-то неуклюже крутил девочек в танце. В углу стояла пара, которая «встречалась» третьи сутки и теперь притворялась, что им неинтересно происходящее. Большинство старших держались особняком. Парни в спортивных штанах и майках «Adidas» бросали оценивающие взгляды на девушек в джинсах с заниженной талией и топиках. Кто-то выходил курить за угол, кто-то тихо материл вожатых, которые заставляли всех участвовать в «танцевальном батле». Остальные же включались в происходящее без лишнего снобизма.

Я вошел в тот самый миг, когда мощные динамики изрыгнули особенно популярный в то время и еще свежий хит «Каламбия Пикчерз не представляет» группы «Банд'Эрос». Танцпол мгновенно взорвался. Казалось, само пространство заколотилось в судорожном экстазе – все, от «средних» до вожатых, прыгали, кричали, взмахивали в такт руками. Это была настоящая феерия безудержной радости, стихия, которую я был еще не готов ни понять, ни принять.

В небольшом зале я быстро отыскал Алису. Она танцевала рядом с каким-то худощавым, невероятно высоким парнем. Рядом с ним она смотрелась хрупкой мартышкой рядом с жирафом – да, двигалась она несколько нелепо, угловато, и это сравнение пришло мне в голову первым. Я пристроился у края зала, среди других «старших», толпившихся у стола с газировкой и о чем-то громко спорящих. Сомневаюсь, что они сами слышали друг друга – из потока слов я выхватывал лишь обрывки вроде: «Металлика рулит! Вот бы включили что-то нормальное!». Я стоял, делая вид, что пью теплую колу, кивал в такт чужому монологу и изо всех сил старался не сверлить взглядом Алису.

Я не знал, что делать, и потому просто ждал. «Жираф» же пожирал ее глазами с таким голодным восхищением, что у меня внутри все сжималось в тугую, ревнивую комоч. Меня спасало лишь одно – она сама на него практически не смотрела, а ее лицо выражало лишь вежливую отстраненность. Одетая она была скромно, особенно на фоне других девушек – простая кофта с длинными рукавами, широкие джинсы. Макияж – минимальный, волосы снова стянуты в тугую хвост. Видимо, внимание более искушенных кавалеров было приковано к куда более ярким особам, и она решила довольствоваться компанией этого нескладного великана. Но как же я ему в тот момент завидовал.

Мне отчаянно захотелось сбежать. Взгляд метался от нее к выходу, и я чего-то ждал. Знака свыше, наверное. Моя и без того призрачная надежда таяла с каждой секундой. И вдруг – музыка резко оборвалась. Колонки захлебнулись тишиной. Магнитофон с отчаянным хру-

стом начал «жевать» пленку. Один из вожатых бросился ему на помощь, но лента запуталась в механизме намертво – требовалось время, чтобы ее аккуратно перемотать.

Пока техник возился, кто-то очень проворный сунул в освободившийся приемник кассету из запрещенной коробки «Медляк». И это был тот самый знак. Зал наполнили первые, узнаваемые с первых аккордов звуки песни, которую я, к своему стыду, знал практически наизусть. Это была любимая песня моей мамы – «Знаешь ли ты» МакСим.

«Жираф» замялся, явно не готовый к резкому переходу на лиричный медляк. Он смущенно оглянулся на своих друзей, которые уже с недовольными гримасами и возгласами «Что за сопли?» покидали центр зала. Нехотя, бросив на Алису последний жалобный взгляд, он поплелся за ними.

Алиса же застыла на месте, и на ее лице читалось явное, ничем не прикрытое разочарование – песня явно ей нравилась.

И вот тогда во мне что-то щелкнуло. Вспыхнула искра, которая мгновенно спалила сковавшие меня цепи страха. Не теряя больше ни секунды, я мигом пронесся через весь зал.

– Позвольте пригласить вас на танец? – произнес я таким тоном, в котором постарался воспроизвести галантность джентльменов из старых черно-белых лент.

Я увидел, как ее угасающий взгляд внезапно вспыхнул вновь, наполнился живой, сияющей радостью. Это был незабываемый миг. Она не сказала ни слова в ответ, а просто молча положила свои ладони мне на плечи. Я обнял ее за талию, и мы закружились. Криво, неуклюже, постоянно наступая друг другу на ноги, но мы танцевали. Кроме нас на опустевшем паркете осталась лишь та самая «серьезная» парочка, которая, казалось, только и ждала момента, чтобы прильнуть друг к другу при всех.

– Ты знаешь эту песню? – вдруг спросила Алиса, заметив, что я тихо подпеваю.

– Знаю ли я?... Знаешь ли ты? – «остроумно» парировал я.

– Да ты остряк, – она рассмеялась, и в ее смехе звенели колокольчики.

– Если честно, моя мама ее обожает.

Алиса снова засмеялась.

– Спасибо, – неожиданно сказала она.

Я не нашелся, что ответить, и просто крепче прижал ее к себе. Она доверчиво положила голову мне на плечо. Мы стали двигаться медленнее, плавнее и наконец перестали наступать друг другу на ноги. Сердце колотилось где-то в горле, ладони вспотели, но я был бесконечно счастлив. Такого счастья я не испытывал никогда прежде.

Песня закончилась. Кассету вернули на место, пробурчав самопровозглашенному диджею что-то невнятное сквозь зубы в благодарность за «неоценимую помощь», и музыка вернулась к своему привычному ритму. Толпа снова хлынула на танцпол, и мы перешли к дистанционному, «общепринятому» танцу. «Жираф» материализовался практически мгновенно, но, быстро сориентировавшись, что его здесь больше не ждут, ретировался, доставив мне этим несказанное удовольствие.

Вскоре дискотека закончилась. Несмотря на оглушительные свист и крики «Давайте еще одну!», всех под дружный хохот выпроводили на улицу – пора было расходиться по домикам.

Лето в лагере «Савел» стало похоже на длинный, сладкий сон – таким оно казалось мне, когда рядом со мной почти всегда была Алиса.

Сначала мы просто иногда начали пересекаться утром в столовой, кивая друг другу через стол. Следом – случайно садились рядом. А потом уже ждали друг друга перед завтраком, чтобы занять места рядом, будто это было что-то само собой разумеющееся.

– Ты опять не ешь манку? – ухмылялся я, наблюдая, как Алиса аккуратно отодвигает тарелку с ненавистным блюдом.

– Ни за что, – она скривила нос. – Лучше уж голодная.

– Драматично, – смеялся я, но тут же протягивал ей свой бутерброд.

Так и повелось: вместе на завтраке, обеде и ланче. Вместе на волейбольном поле, где Алиса, несмотря на хрупкость, отчаянно бросалась за мячом, а я подстраховывал ее сзади, ловя каждый ее взгляд через плечо. Вместе на творческих мастер-классах, где она безуспешно пыталась рисовать что-то сложное и красивое, а я изображал карикатуры на вожатых, заставляя ее смеяться так, что ей приходилось откладывать кисть.

Вечера стали нашим временем. У костра, когда отблески пламени играли в ее карих глазах, мы говорили обо всем – о книгах, о музыке, наконец о кино. Однажды она потащила меня на очередной киносеанс – «Звездные войны. Эпизод IV».

– Вот смотри, – ее голос звучал горячо, когда Люк Скайуокер впервые брал в руки световой меч. – Это же гениально! Не просто фантастика, а история о выборе, о свете и тьме внутри каждого. И музыка!..

Я слушал, улыбаясь. Мне нравилось, как она говорила о вещах, которые любила – будто они были живыми. Она рассказала о своих родителях, школьных друзьях, о лучшей подруге – Насте, с которой они каждое лето проводили в деревне и с тех пор дружат, словно сестры.

А потом была «Тереза Ракен».

– Ты правда прочитала? – удивился я, когда она вытащила книгу из сумки.

– За ночь, – призналась Алиса. – Не могла оторваться.

И мы провели за обсуждением весь вечер. Она говорила о том, как Золя безжалостно обнажает человеческую природу, о фатальности, о страсти, которая губит. Алиса цитировала целые абзацы, а я ловил каждое слово, постоянно парируя ее доводы о качестве данного произведения, так как все еще придерживался альтернативного мнения.

На дискотеках мы танцевали, все еще смешно и неумело, пока не сбивались с ног. Алиса кружилась под быстрые ритмы, а я ловил ее за руку, когда она теряла равновесие.

– Ты похожа на мотылька, – сказал я как-то.

– А ты – на медведя на роликах, – засмеялась она в ответ, – а нет, стой, ты же мамонтенок.

– Лучше уж медведь на роликах, – запротестовал я.

– Кстати, почему ты мамонтенок?

Мне так не хотелось рассказывать ей эту глупую историю, но я не мог отказать ее умоляющим глазам. А еще я не мог ей врать, просто не мог... поэтому пришлось вывалить все.

– А мне нравится, – сказала она, когда я закончил, – «художник» звучит безлико, а «мамонтенок» придает жизни. Только какой ты мамонтенок, ты вон какой двухметровый слон.

– Двух метров во мне явно нет, – поправил я.

– Занудный слон, – она показала язык, – так вот. Какой ты мамонтенок? Ты уже полноценный мамонт!

В этот момент я вдруг осознал: эти дни, наполненные ее смехом, ее словами, ее присутствием – стали для меня важнее, чем все лето до этого. И я надеялся, что она чувствует то же самое.

– Мамонт? – удивленно спросил я.

– Да, это очень красиво.

Момент был трогательным, но я был не в силах сдержать смех.

– Что же тут красивого?

– Я учу французский, «Ma mont» переводится как «Моя гора», – она очень мило улыбнулась, – А ты... моя гора, с тобой мне спокойно, я знаю, что смогу укрыться за тобой от любой угрозы.

Я ответил на улыбку. Наверное, это был идеальный момент для поцелуя, но мы были робкими и стеснительными, поэтому никто не решился на этот шаг. Забавно, что кто-то в это время лишился девственности в соседнем домике, пока мы боялись даже легкого прикосновения губ.

Смена подходила к концу, и с каждым днем воздух наполнялся горьковатой сладостью скорого расставания. Мы с Алисой все так же проводили вместе каждую возможную минуту – купались в теплом море, загорали на деревянных мостках, смеясь над неудачными прыжками других ребят, и даже ночью прокрадывались к озеру, чтобы посмотреть на звезды, отражающиеся в черной воде, и поговорить о наших мечтах.

Но между нами все еще оставалась невидимая граница. Мы так и не поцеловались.

Были моменты, когда казалось, что вот-вот, сейчас – когда мы оставались одни у потухающего костра, или когда Алиса, смеясь, спотыкалась и хваталась за мою руку, или когда после дискотеки мы шли обратно в тишине и наши шаги сливались в один ритм. Но что-то останавливало. То ли страх испортить то, что уже было, то ли что-то еще.

А потом я узнал, что Алиса живет не просто в другом городе, а в Новосибирске, практически на другом конце страны. Я понимал, как это далеко, потому что моя мама была из тех краев, из Барнаула. При этом мы ни разу туда не ездили.

– Ты серьезно? – я засмеялся, думая, что это шутка, но ее взгляд был спокойным и чуть грустным.

– Серьезно. После лагеря я сразу улетаю домой. У нас даже автобусы отсюда разные.

Я кивнул, стараясь не показать, как тяжело мне это слышать.

Последний вечер мы провели бродя по опустевшей территории лагеря, вспоминая самые смешные моменты. Говорили обо всем, кроме того, что действительно важно.

– Держи, – я протянул ей листок из моего альбома, перед тем как мы отправились по своим домикам.

– Какая прелесть: R2-D2 и C-3PO! – сказала она с искренним удивлением, глядя на мой рисунок, с которым я когда-то собирался подойти к ней, – Какая красота!

Я улыбнулся, не веря ее словам, но мне было приятно. Как приятно было видеть радость в ее глазах, видеть ее улыбку.

А утром был автобус, чемоданы и тяжелое молчание.

– Ну... – Алиса затягивала ремешок своей сумки, не поднимая глаз. – Не забывай меня.

– Конечно нет, – я улыбнулся, хотя внутри все сжалось.

Она вдруг резко вытащила из кармана бумажку и протянула мне.

– Вот мой номер. Позвони, когда сможешь.

Я взял листок, но тут же почувствовал, как лицо горит.

– У меня... нет телефона.

Алиса замерла на секунду, затем рассмеялась – невеселым, но теплым смехом.

– Ну конечно же у тебя нет. – Она порылась в сумке, достала ручку и на обратной стороне той же бумажки быстро написала что-то. – Тогда вот адрес. Присылай письма.

– Обязательно.

– А еще с тебя мой портрет, – она кокетливо улыбнулась.

– Как только моего навыка хватит, чтобы передать твою красоту, то сразу.

Она покраснела, это был мой первый озвученный в ее адрес комплимент.

– Обещаешь?

– Обещаю.

Мы обнялись – крепко, как будто пытались запомнить это на ощупь. Пахло от нее солнцем, морем и чем-то еще, что теперь будет ассоциироваться только с ней. Потом она села в автобус, помахала мне в окно, а я стоял и смотрел, пока машина не скрылась за поворотом. В кармане у меня лежала бумажка с адресом, которая одновременно грела мою душу и обжигала мое сердце.

Глава 2

Поезд тормозил, скрипя колесами, и я ловил взглядом знакомые улицы. Лагерь, Алиса, последний вечер у костра – все это уже казалось каким-то далеким сном.

На перроне меня ждал отец. Один.

– А мама где? – спросил я, еще не осознавая тревоги, но уже чувствуя, как что-то внутри сжимается.

– В машине, – коротко бросил отец и взял мой рюкзак.

Мы шли через вокзал молча. Отец не спросил, как лагерь, не поинтересовался, хорошо ли я доехал. Он просто шагал впереди, ссутулившись, будто под невидимым грузом.

Старый темно-синий «Форд» стоял на парковке, нагретый солнцем. Я сел на пассажирское сиденье, запах бензина и старой кожи встретил меня как старого знакомого.

Я оглядел салон. Сзади – пусто. На переднем сиденье – ни сумочки, ни знакомого платка.

– Пап... а где мама? – снова спросил я, и на этот раз в голосе прозвучала тревога, которую я уже не мог скрыть.

Отец не ответил. Рывок ключа, и двигатель с хрипом ожил. Он резко тронулся с места, будто пытаясь убежать от моего вопроса.

Минуты три мы ехали в тишине. Потом отец резко свернул на обочину, заглушил двигатель, очень крепко сжал руль и сказал:

– Мама нас бросила.

Слова повисли в воздухе.

– Что?..

– Уехала. Оставила записку. – Отец достал из кармана смятый листок, передал мне.

Почерк матери. Всего несколько строк:

«Простите. Я больше не могу. Не ищите меня».

Я перечитал три раза. Потом поднял глаза на отца – тот смотрел в лобовое стекло, словно надеясь увидеть вдали ответ.

– Когда?

– Сразу, как ты уехал.

Три месяца. Пока я смеялся с Алисой у озера, пока мы обещали писать друг другу – здесь, в моем доме, рушилось все.

– Куда она уехала?

– Не знаю. – Голос отца дрогнул. – Вещи свои не забрала. Денег взяла не много. Просто... исчезла.

Я сжал записку в кулаке. В голове стучало: «Как же так? Почему?». Но вопросов было больше, чем ответов.

Отец снова завел машину.

– Все. Едем домой.

Домой.

Туда, где теперь не будет маминых блинов по утрам. Где ее смех не будет доноситься из кухни. Где в прихожей больше не пахнет ее духами.

Я закрыл глаза. В кармане у меня лежал листок с адресом Алисы. Но сейчас я не мог думать о письмах. Я даже не знал, о чем думать.

Дверь скрипнула. Квартира встретила затхлым запахом застоявшегося воздуха и громким звуком телевизора. На диване, обложенный подушками, сидел дед. Он даже не обернулся, только хрипло бросил:

– Ну, вернулись...

Его руки, покрытые коричневыми пятнами, лежали на коленях, а взгляд уныло уставился в мерцающий экран, где показывали какую-то передачу про рыбалку.

Я молча поставил рюкзак в угол.

Дед был единственным, кто никогда не унывал в этом доме. Мы всегда ладили – дед учил меня строгать дерево, рассказывал армейские байки (немного приукрашенные, конечно), а я слушал, забывая обо всем. Но сейчас даже он выглядел потухшим, будто его ворчливая, но живая душа накрылась тяжелым одеялом безнадёги.

Отец прошел на кухню, громко хлопнув дверцей холодильника.

– Опять ничего нет... – пробормотал он.

Я знал, что «опять» – это последние три месяца. Три месяца, как мамы больше не было в этом доме.

На столе лежала открытая пачка макарон и пустая банка из-под тушенки.

Внезапно телевизор погас. Экран мигнул и застыл черным зеркалом, отражая деда – усталого, сгорбленного, чужого самому себе.

Он вздохнул – глубоко, надрывно, как перед прыжком в ледяную воду.

– Будете есть яичницу?

– Сделаю сам, – сказал я, но дед махнул рукой, и в этом жесте была упрямая, почти отчаянная забота.

– Яйца-то я хоть пожарить могу. Черт возьми, не инвалид еще.

На кухне зашипело масло – резко, обиженно. А в коридоре отец достал телефон, посмотрел на входящий номер, ответил... и через секунду с силой бросил трубку.

Звук был коротким – но в нем слышался весь этот разваливающийся мир.

«Долги», – пронеслось у меня в голове.

Отец, еще год назад, ходил с улыбкой, обещая «новый этап», «партнерство с крупными игроками», «мы скоро купим дачу у озера».

А потом – звонки в три ночи. Шепоты за дверью. Потом – скандалы, которые он уже не пытался заглушить.

И в один день дед переехал к нам.

«Продали его квартиру», – понял я тогда.

Дед вернулся с тарелкой. Яичница была чуть пережарена, края подгорели, но запах – тот самый, домашний – ударил в нос с такой силой, что глаза защипало.

– Ешь, пока горячая.

Я опустил на стул, медленно тыкал вилкой в желток, который уже не лился, а крошился. В голове крутилось одно и то же, как заевшая пластинка:

«Мы же были счастливы. Или только казались? Почему она ушла? Что мы пропустили?».

Отец молча уселся напротив, протянул руку к своей порции яичницы. Его взгляд блуждал где-то далеко – может, в том мире, где еще все можно исправить.

Дед достал из кармана потрепанную пачку «Беломора», вытащил одну сигарку и начал крутить ее между пальцами – не зажигая. Просто вертел, будто в этой привычной механике искал спасение.

– До школы неделя, – сказал я вдруг, чтобы разорвать эту тишину.

– Угу, – хрипло отозвался дед, не поднимая глаз. – Повезло тебе.

Я не ожидал, что когда-нибудь буду ждать первого сентября. Но тогда мысль о звонках, уроках, шумных коридорах казалась спасением. Хоть что-то, что выдернет меня из этого кошмара.

Мы сидели втроем. Три мужчины. Три тарелки. Два отца и два сына. И гробовая тишина между нами, будто каждый боялся первым признать: дом трещит по швам.

Где-то в глубине моего рюкзака лежал сложенный вчетверо листок с аккуратно выведенным адресом – Алисы.

Но писать ей сейчас... Как?

Что написать?

«Привет. У меня нет телефона, моя мама сбежала, а отец в долгах по уши. Как твои дела?».

Нет. Лето кончилось. По-настоящему кончилось.

Школа не стала спасением.

Первые недели сентября я еще пытался играть роль «обычного» парня – перекидывался с друзьями дурацкими фразами из «Нашей Раши», смеялся над новыми приключениями Мишки (который, несмотря на жару, уже в октябре мог начать ходить в шапке-ушанке). Дворян, как всегда, щеголял новым Sony Ericsson с камерой и вставлял умные слова вроде «девальвация» и «реновация», хотя сам толком не понимал их смысла.

Наверное, стоит поподробнее остановиться на моих школьных друзьях. Мишка человек добродушный, но немного простоватый. Семья у него вся из деревни, в город перебралась незадолго до его рождения и так и не смогла до конца ассимилироваться к столичной жизни. Шутки у него были жутко плоскими. Но зато нас многое объединяло – нам обоим родители отказывались покупать мобильники, в глубине души мы были добрыми и отзывчивыми, и у нас были хорошие добрые обычные семьи (до текущих событий). Когда мы шли в парк, то Мишка обязательно находил способ облажаться – то проваливался в сугроб, то падал с крыши гаражей, по которым мы бегали, то задирали старшеклассников, которые тут же начинали гонять его по округе. А еще он много мечтал – хотел посмотреть мир, научиться делать фокусы, попробовать все виды газировки на свете. Сейчас я ужасно скучаю по этому добряку.

Дворян, он же Борис, был наоборот из состоятельной семьи. История возникновения его клички, которая стала ему вторым именем, была весьма занятной. Бориса мы сначала звали Борян, тогда нам казалось это круто. Но все его высокопарные выходки и дикий снобизм вынуждали нас высмеивать его дворянские повадки, соответственно, Борян быстро превратился в Дворяна. Он тоже был неплохим человеком. В глубине души. Но до этой глубины нужно было докопаться. Несмотря на свой социальный статус, он был довольно скупым и жадным. Когда мы, будучи в младших классах, на последние деньги с Мишкой покупали сухарики и газировку, Дворян свои откладывал, зная, что мы поделимся. А мы и делились. Но зато мы часто тусовались у Дворяна после школы: рубились в GTA: San Andreas на его PlayStation 2, слушали и спорили, кто круче – Linkin Park или System of a Down (даже подумать страшно, как долго бы они смеялись, узнав про мои танцы под МакСим).

Мои попытки вести обычную жизнь долго не продлились, к октябрю я перестал вылезать из дома. Школа, друзья, видеоигры, даже рисование – все стало казаться бессмысленным. Я приходил, отсиживал уроки, не слыша ни слова из того, что говорили учителя, а потом шел домой, зарывался в старый семейный альбом и рассматривал фотографии матери.

Вот она смеется на море. Вот печет торт на мой день рождения. Вот держит меня, пятилетнего, за руку у елки. Я зарыдал. До того момента я не плакал лет с восьми, но тут не сдержался. Я искренне не мог понять, почему она ушла.

Отец почти не появлялся – то ли работал, то ли скрывался от кредиторов. Дед сидел на кухне, курил «Беломор» и иногда ставил передо мной тарелку с яичницей.

– Хватит киснуть, – ворчал он. – Мужиком становись.

Но как? Вопрос риторический.

В ноябре выпал снег – раньше обычного. Хлопья медленно падали за окном, и я вдруг вспомнил Алису. Я ведь обещал писать. Я достал из учебника по алгебре замятый листок с ее адресом, разгладил его на столе и долго смотрел на аккуратные буквы. Что я могу ей сказать? Я взял тетрадный лист, взял ручку и начал:

«Привет, Алиса.

Прости, что берусь за письмо только сейчас. Эти несколько месяцев я не мог собраться с духом, переписывая это письмо в уме десятки раз.

Когда я вернулся из лагеря, дом встретил меня не родными объятиями, а ледяным молчанием. Мамы не было. Осталась лишь записка, несколько безразличных строк, которые перечеркнули всю мою прежнюю жизнь. Она просто ушла. Без объяснений, без прощаний, оставив за собой пустоту, в которой отец и я пытаемся не задохнуться. Теперь я отчасти понимаю, что осознал Энакин Скайуокер, потеряв свою мать.

Мы продали квартиру деда в прошлом году, и теперь живем вчетвером – я, отец, дед и это гнетущее, мертвое молчание, которое звенит в ушах громче любого крика. Отец погрузился в долги и собственное отчаяние, а я... я пытаюсь найти опору в памяти о тех днях, что провел с тобой.

Иногда мне кажется, что наше лето в лагере было словно яркая вспышка света – последняя перед тем, как все поглотила тьма. Я ловлю себя на том, что мысленно возвращаюсь к нашему костру, к шепоту сосен, к твоему смеху, который казался таким же естественным, как шум озера. В эти моменты боль отступает, и я снова чувствую себя тем парнем, который верил, что все возможно.

Я не знаю, зачем пишу тебе все это. Наверное, потому что ты – единственный человек, с которым мне не страшно быть уязвимым. Мне хочется верить, что где-то там, за тысячами километров, ты все еще помнишь наши разговоры под звездами. Что они были для тебя так же важны, как и для меня.

Если ты не захочешь отвечать – я пойму. У каждого своя жизнь, свои заботы. Но просто знай: твое присутствие в моей памяти стало тем лучиком, который помогает мне продираться сквозь эту темноту».

Нужно было оставить внизу подпись. Я начал медленно вписывать свое имя «Ма...». Не знаю, что щелкнуло во мне в этот момент, но закончил я по-другому: «Mamont».

Я перечитал письмо, свернул листок вчетверо, заклеил конверт и на следующий день опустил его в почтовый ящик у школы.

Теперь оставалось только ждать. Если ответа не будет – ну что ж. Значит, еще одна потеря. Но если будет... Я почувствовал что-то похожее на надежду.

Дни тянулись медленно, как резина. Я механически ходил в школу, отвечал на вопросы учителей, но мои мысли витали где-то далеко. Я ловил себя на том, что по пять раз перечитывал один и тот же абзац в учебнике, но так и не понимал смысла.

Друзья пытались меня растормошить.

– Марк, давай уже вылезай из своей раковины! – ворчал Дворян, бросая в меня скрученную бумажку с надписью: «Проснись, Нео!». – Мы в субботу собираемся у меня, будем смотреть «Пиратов Карибского моря» на DVD. Ты просто обязан прийти.

Мишка, не отличавшийся деликатностью, действовал проще – хватал меня в школьном коридоре под руку и тащил в парк:

– Давай, депрессуха, будем снежки лепить!

Но даже их усилия разбивались о ледяную стену моей апатии.

Учителя начали замечать, что я – тот самый парень, который раньше хоть и не блистал знаниями, но хотя бы участвовал в уроках – теперь сижу, уткнувшись в одну точку. Классная руководительница позвонила отцу, но тот лишь сухо бросил в трубку:

– Разберемся.

И, конечно, не разбирался.

Я почти смирился с тем, что ответа от Алисы не будет. Может, она забыла меня. Может, ее жизнь теперь слишком яркая, чтобы вспоминать про какого-то парня из лагеря. Может, она так сильно обиделась на длительное молчание, что разорвала конверт с моим письмом в клочья, не удосужившись прочесть.

Но однажды, вернувшись из школы, я увидел на кухонном столе конверт. Белый, чуть помятый по углам, с красивым почерком в графе «Кому». Сердце екнуло. Я схватил письмо, заперся в комнате и открыл его дрожащими пальцами. Оно пахло ее духами – легкими, цветочными. Я закрыл глаза, вдыхая этот аромат, и на секунду мне показалось, что я снова сижу с ней у костра. Внутри конверта я нашел небольшой симпатичный вязаный темно-синий браслет.

«Привет, Марк!

Получила твоё письмо. Не поверишь – руки дрожали, когда распечатывала конверт. Я так долго его ждала, что уже почти отчаялась и начала рисовать в своем воображении самые страшные картины. В моей голове поселилась горькая мысль: «Он просто решил меня стереть из своей жизни, вычеркнуть, как случайный эпизод». Было очень больно и обидно, я не скрою. Каждый день проверяла почту, а в ответ – лишь тишина. Эта тишина заставляла сердце сжиматься от тревоги.

Но теперь, держа в руках твои строки, я все поняла. И мне стало так горько за свои глупые подозрения и так бесконечно жаль, что тебе пришлось столкнуться с таким испытанием. Прости меня, пожалуйста, за эти мимолетные обиды. Жизнь, видимо, действительно вносит свои жестокие коррективы, о которых мы с тобой, сидя у костра, даже не подозревали.

Я тут пытаюсь жить своей обычной жизнью, погрузиться в привычную суету с головой, чтобы не так сильно ощущалась эта пустота. Школа, уроки, учебники... И знаешь, происходит удивительное – у меня все стало получаться. Я будто бы обрела какую-то невероятную сосредоточенность и стала лучшей ученицей в классе! Ирония судьбы, да? Раньше я бы сама посмеялась над такой перспективой, а теперь смотрю на свои оценки и не верю своим глазам. Видимо, это и есть то самое взросление, о котором нам так часто говорили. Оно приходит неожиданно и меняет все.

А на улице у нас уже зима. Самый настоящий снег укутал город. Я почти каждый вечер прихожу на каток. Там под звуки музыки лед кажется волшебным полотном. И я научилась выписывать на нем не просто круги, а почти что картины (не такие красивые, как у тебя, конечно). Представляешь, я даже освоила «ласточку»! Руки в стороны, одно лезвие на льду, ветер в лицо... В эти секунды кажется, что вот-вот оторвешься от земли и улетишь высоко-высоко. В такие мгновения я чувствую себя свободной и безумно живой.

И почему-то именно в эти секунды полета мои мысли неизменно возвращаются к тебе. К нашему лагерю, к теплым летним вечерам. Это было не так давно, но порой кажется сном, прекрасным и ярким, словно из другой, невероятно счастливой жизни. Ты стал для меня частью того незабываемого лета, частичкой тепла, которое я храню в самом сердце.

Я так рада, что ты написал. Что наше лето – это было что-то настоящее, а не мимолетный сон. И я хочу быть для тебя поддержкой сейчас. Я не знаю волшебных слов, которые могли бы унять твою боль, но я связала для тебя один маленький амулет. Это простой браслет, ниточка за ниточкой. Вплетая в него каждую петельку, я думала о тебе и мысленно желала тебе сил, мужества и света в конце этого тоннеля. Носи его, пожалуйста. И когда тебе будет особенно тяжело, просто посмотри на него. Пусть он напомнит тебе, что где-то далеко есть человек, который в тебя верит, который помнит твою улыбку и кто искренне ждет твоего возвращения к жизни.

Я очень надеюсь, нет, я верю, что наша история на этом не закончится. Что однажды судьба снова сведет нас где-нибудь на том же катке, на вокзале в незнакомом городе или просто на улице под падающим снегом. И мы просто улыбнемся друг другу, как тогда, летом.

Держись, Марк. Ты сильный. Ты справишься.

Твоя Алиса».

Рядом с подписью красовался след от губной помады. Она поцеловала письмо. Видимо, романтическая подпись с «моей горой» сработала.

Я тут же надел браслет на руку, перечитал письмо, затем аккуратно сложил его и спрятал в учебник, который никогда не открывал. Ответ я написал через несколько дней.

«Алиса, твое письмо... Эти строки, такие простые и такие искренние, стали для меня настоящим глотком свежего воздуха. Ты не представляешь, как сильно оно было нужно. Оно пришло в тот самый момент, когда казалось, что мир погрузился во тьму и я забыл, что такое свет.

Мне так приятно и так тепло на душе от твоих слов. От того, что у тебя все хорошо, что ты покоряешь вершины, которые сама же себе и назначила. Я всегда знал, что в тебе скрыта эта сила, эта упрямая и прекрасная искра, которая способна зажечь настоящее пламя. Ты молодец. И пусть это «взросление», о котором ты пишешь, порой бывает горьким, я верю, что оно делает тебя только прекраснее.

Ты пишешь о снеге... У нас он тоже есть, но я, честно признаться, его почти не замечаю. Мои дни похожи друг на друга, как две капли воды: школа, дорога домой, учебники. Я будто бы стал автоматом, который бездумно выполняет программу, глуша тихий фон внутренней боли монотонностью. Иногда я ловлю себя на мысли, что просто стою у окна и смотрю, как падают снежинки, но не вижу их. Я вижу лишь свое отражение в темном стекле – уставшее и чужое.

Но теперь... Теперь все иначе. Теперь, зная, что ты где-то там, под тем же самым небом, дышишь, улыбаешься, выписываешь на льду свою «ласточку»... Во мне появилась странная, едва уловимая надежда. Стало чуть легче дышать. Твое письмо, словно луч света, проникло в мое затворничество и осветило маленький уголок моей души. Оно напомнило мне, что за стенами моего молчания существует другая жизнь – яркая, полная красок и чувств. И главная ее часть – это ты.

Я тоже ловлю себя на мыслях о нашей встрече. Иногда, закрывая глаза, я снова там – в нашем лагере. Я слышу шелест листьев над головой, чувствую запах костра, который вьется в одежду, и снова слышу твой смех. Это были по-настоящему беззаботные дни, подаренные нам судьбой. И мысль о том, что это может повториться, что однажды мы сможем говорить не бумаге, а глядя друг другу в глаза... Она согревает меня лучше любого солнца.

Твой браслет... Он сейчас на моей руке. Я поймал себя на том, что в самые трудные минуты непроизвольно дотрагиваюсь до него, перебираю узелки, которые ты завязала своими руками. И в этот момент я думаю о том, что эта тонкая нить связывает меня с тобой, с тем

счастливым прошлым и, я верю, с таким же светлым будущим. Это мой талисман, мой якорь, который не дает мне окончательно потерять себя. Теперь он навсегда останется со мной. Как и память о тебе.

Спасибо тебе за все. За письмо. За память. За этот лучик света.

Mamont».

Я снова отправил письмо. И теперь я знал, что где-то там, за сотни километров, есть человек, который меня по-настоящему ждет.

Наша переписка с Алисой стала тем якорем, что удерживал меня на месте в бушующем море повседневности. Мы обменивались письмами с такой жадностью, на какую только была способна наша почтовая служба. Каждый конверт с ее знакомым почерком был для меня маленьким праздником. Я замирал, разрывая клеевой клапан, вдыхая тонкий, чуждый нашему дому аромат ее духов.

– Ну что, опять от твоей принцессы? – с усмешкой бросал Дворян, заведя заветный прямоугольник в моих руках.

– От Алисы, да, – отрезал я, стараясь скрыть улыбку.

– Романтика, блин, настоящая, – он качал головой, но в его глазах читалась не насмешка, а скорее легкая зависть. – Писать друг другу бумажные письма в наше время... Это же анахронизм.

Для Алисы, как мне казалось, это не было проблемой. В одном из писем она писала: «Мне нравится ощущать шероховатость бумаги под пальцами и знать, что эти же строки ты держал в руках там, за сотни километров. Это так... честно». Ее слова согревали меня, но одновременно с этим в душе зрела тревожная, навязчивая мысль. Мне было мало этих бумажных голубков. Мне хотелось слышать ее смех, а не представлять его. Хотелось знать, как дрогнет ее голос, когда она скажет мое имя. Я начал вынашивать план, как выпросить у отца мобильный телефон, но наши отношения лишь катились под откос, превратившись в редкие, полные молчаливого упрека разговоры у холодильника. Просить же такую дорогую вещь у деда с его мизерной пенсией – это было бы верхом эгоизма. И тогда в моей голове родилась идея: заработать самому.

Едва я договорился о вечерних подработках разнорабочим в местном универсаме – мыть полы и разгружать коробки – как судьба нанесла свой сокрушительный удар. Отцом было объявлено с ледяной, деловой простотой: «Собирай вещи. Переезжаем».

Мы и так жили не в самом центре, но теперь нас закинуло за МКАД, в глухую панельную глушь, словно сошедшую с постеров о «хрущевском» прошлом. Дорога до ближайшего метро занимала теперь не меньше получаса на постоянно трясушемся, прокуренном автобусе. Мир сжался до размеров этого унылого района. Алисе я, сжав зубы, отправил открытку с новым адресом, и между нами повисла мучительная пауза, пока письма снова не нашли друг друга в этой путанице индексов и сортировочных центров.

С переездом пришлось менять и школу. Старое здание школы №17 напоминало барак из 70-х – облупленная краска, скрипучие половицы, туалеты с постоянно капающими кранами. Но здесь было проще: учителя не давили – проверяли тетради раз в неделю, ставили «тройки» просто за посещение.

Одноклассники приняли меня спокойно. Парни из ПТУ, заглядывающие на переменах, называли меня «новенький», но без злобы. Девчонки перешептывались, поглядывая на меня.

Но друзей здесь не было и в помине. Моя прежняя жизнь осталась там, за кольцевой дорогой. Теперь лишь изредка, раз в две-три недели, мы виделись с Мишкой и Дворяном. Воскресенье становилось священным днем. Мы сбивались втроем в большой комнате Дворяна, где пахло жареной картошкой и полиролем для мебели. Монитор телевизора мерцал кадрами «Бригады», мы запивали чипсы теплой колой и часами вспоминали старые добрые истории, которые с каждым разом казались все более далекими и нереальными, как прекрасный, но ушедший сон.

С началом нашей переписки с Алисой время, до этого тянувшееся унылой зимней околицей, вдруг сорвалось с цепи и помчалось вперед невероятно быстро. Месяц шел за месяцем, отмеряемый не сменой календарных листков, а толщиной пачки ее писем в ящике моего стола. Каждый конверт был остановкой, маленькой станцией, где можно было отдышаться, прежде чем снова нырнуть в поток серых дней.

Новый год мы встретили на удивление спокойно, даже почти по-семейному. Собралась вся наша мужская компания: я, отец, дед. Втроем, толкаясь на крохотной кухне, мы колдовали над целым тазиком оливье, споря, сколько же зеленого горошка класть «по правилам». Отец, демонстрируя неожиданную кулинарную удачу, запекал в духовке курицу с чесноком, и весь дом наполнялся согревающим душу ароматом. Старшие пили водку из маленьких стопок, а мне сунули в руку баночку холодного шипящего алкогольного энергетика. Сладковатый, липкий вкус сначала вызвал гримасу, но затем голова закружилась приятно и легко. Тогда я впервые в жизни напился так, что начал нести полную околесицу и, к собственному изумлению, пустился в пляс под хрипящую из старого телевизора Пугачеву. Дед хохотал, хлопая меня по плечу, а в уголках глаз отца я уловил нечто отдаленно напоминающее улыбку.

Но праздники, как это всегда и бывает, закончились. Последние гирлянды погасли, мишура осыпалась, и в доме вновь воцарилась знакомая, густая апатия, тяжелая, как одеяло, наброшенное на все звуки и чувства.

А затем я заболел. Постоянно промокающие ноги после долгой дороги из школы дали о себе знать сполна. Болезнь накатила внезапно, с ломотой в костях и огненной волной жара, смывшей все остальные ощущения. Денег на врачей и антибиотики не было, и я провалился с температурой почти месяц. Это было невыносимое, томительное существование на грани сна и яви. Комната то расплывалась в жарком мареве, то на мгновение становилась четкой и невыносимо одинокой. Сквозь тонкую стену доносились приглушенные голоса телевизора, звук посуды на кухне – обычная жизнь, которая шла своим чередом, пока я горел в своей комнате-изоляторе. По ночам меня бил озноб, зубы стучали, и я кутался в одеяло, которое казалось ледяным и влажным. Дни сливались в один долгий лихорадочный кошмар. Изредка появлялся отец с кружкой горячего чая и какими-то таблетками, которые он клал на тумбочку молча, без слов. Дед же в свою очередь вел свою, особенную войну с моей болезнью. Он появлялся в дверях с целым арсеналом, доставшимся ему, казалось, из другого века. «Наука – наукой, Марк, а без бабушкиных методов – никуда», – бубнил он, зажигая на плите газ, чтобы сварить в старой кастрюле картошку в мундире.

Затем он усаживался на край кровати, бережно накрывал мою голову и кастрюлю большим махровым полотенцем и заставлял дышать этим густым обжигающим паром. «Глубже, внучек, выгоняй заразу», – говорил он, и его шершавая ладонь лежала на моей спине, тяжелая и удивительно спокойная. Я задыхался, мне хотелось сбросить это влажное покрывало, но я терпел – потому что в его голосе не было места сомнениям.

Потом наступал черед чеснока. Дед мелко рубил зубчики, посыпал солью на черный хлеб и стоял рядом, пока я, морщась от едкой горечи, не проглатывал этот противный, но целебный комочек. «Это тебе не химия всякая, это природа», – говорил он, одобрительно хлопая меня по плечу, а сам в уголке рта прятал улыбку, видя мою брезгливую гримасу.

Апофеозом его заботы стали старые, пожелтевшие от времени горчичники, которые он, словно клад, достал из недр антресоли. Они жгли кожу так, будто пытались выжечь саму болезнь каленым железом. Я стискивал зубы, а дед сидел рядом и рассказывал истории из своего детства – как он сам болел и как его бабушка лечила такими же горчичниками, и ничего, выжил, закалился. Его монотонный, глуховатый голос был лучшим обезболивающим.

И вот в этом аду из пара, чесночного духа и жгучей горчицы между нами протянулась невидимая, но прочная связь. Он не просто лечил меня. Он, старый солдат, передавал мне свою стойкость, свое упрямство, свою веру в то, что любая хворь отступит перед силой воли и терпением. И я, закутанный в его полотенце, с пылающей спиной и горьким послевкусием во рту, чувствовал, что выздоравливаю не только телом. Каждый его горчичник, каждая долька чеснока были кирпичиками, из которых строился мост между нашими поколениями – мост, который болезнь не смогла разрушить, а только укрепила.

Еще же одним спасением были письма Алисы, которые я перечитывал в редкие минуты просветления, вцепляясь в них пальцами, как в спасательный круг.

Меня отпустило к февралю, и я как ни в чем не бывало направился снова в школу. К моему удивлению, никто даже не запросил больничный лист.

Про мой день рождения в конце февраля дома никто не вспомнил. Да я и не стал напоминать, зачем лишний раз тыкать носом в собственное незначительное существование? В школе меня нехотя, сверяясь с журналом, поздравила учительница истории, и тут же, хором, подхватили пара одноклассников – скорее из вежливости, чем от души. Без ее подсказки они бы ни за что не догадались.

Но самым огромным, оглушительным сюрпризом стало письмо от Алисы. Оно пришло спустя две недели после самой даты. Конверт был самым обычным, но в моих руках он будто светился изнутри. «Поздравляю тебя с днем рождения, хоть и с опозданием!» – вывела она своим аккуратным почерком.

Я замер, перечитывая эти строки снова и снова. Как она запомнила? Я ей разве говорил? И тут же в памяти всплыл тот летний вечер у костра, наш разговор о знаках зодиака. «Я рыба, – сказал я тогда. – Родился в феврале». И она, смеясь, ответила: «О, мечтатели!». Она запомнила. Она запомнила мимолетную фразу, брошенную полгода назад!

Меня обожгло чувство вины. Я, тонувший в ее письмах, смаковавший каждое ее слово, даже не удосужился запомнить, когда родилась она. Я схватил ручку, и чернила ложились на бумагу, смешиваясь с моим стыдом.

«Алиса, – писал я, – твое письмо стало для меня самым дорогим подарком. Спасибо тебе. Но мне так мучительно стыдно, что я... я не знаю твоего дня рождения. Я утонул в своих проблемах и забыл спросить о самом главном. Прости меня, пожалуйста, за эту ужасную оплошность. Напомни его мне. И если он уже прошел... я заранее прошу у тебя прощения. Я никогда больше не допущу такой глупости».

Я заклеил конверт с ощущением, что совершил самое большое предательство в своей жизни, и бросил его в почтовый ящик, как бросают записку в бутылке в бушующее море, с надеждой на прощение.

Следует упомянуть, что по возвращении из лагеря домой я взялся за мамин портрет. Я выбрал самую ее красивую фотографию и начал писать. Процесс шел крайне долго, но я как будто в эти моменты проводил время с ней. Я чувствовал обиду, злость, любовь, сожаление и ужасную тоску. И вот спустя восемь месяцев, когда снег уже растаял, а солнце вновь начало согревать все вокруг своими лучами, я закончил.

– Вот это да! – дед был в восторге, когда я показал ему полотно, – Прямо живая.

Он никогда не хвалил меня за мои рисунки и картины, но сейчас я читал истинное удивление в его глазах.

– Спасибо, мне приятно.

– Слушай, а сможешь меня так же забавить? – спросил он без капли иронии.

И тут я осознал вещь, которая останется со мной на всю жизнь. Деталь в моем творчестве, которая выше любых принципов и осознанных сил. Я понял, что этот долгий процесс рисования стал для меня неким ритуалом прощания.

– Боюсь, что нет, когда я закончил этот портрет, – начал я объяснять свой отказ, – меня отпустило. Я смог проститься с ней. Это была ее мечта, ее последнее желание, адресованное мне. Портрет для меня теперь остро отождествляется (слово, позаимствованное из лексикона Дворяна) с прощанием и прощением. А с тобой я прощаться не готов.

Дед не знал, расстраиваться ему от такого ответа или радоваться, но в полемику вступать не стал.

Отец практически всегда появлялся дома лишь перед сном и уходил под утро. Денег на еду, что он оставлял, становилось все меньше и меньше. Со временем я заметно похудел. Дед же часто отказывался от еды в мою пользу, сетуя на то, что не голоден. Я тогда почему-то искренне верил, но сейчас понимаю, что это была забота. Чуть позже отец вообще перестал получать какие-либо деньги, и мы стали жить вдвоем на одну пенсию деда.

Пришел ответ от Алисы – ее день рождения в июне. Я облегченно выдохнул. Еще она писала о том, что погрузилась в изучение языков – английского и французского. Поделилась мечтами о том, что хотела бы жить в Нью-Йорке, желательно на Манхэттене. И как было бы здорово побывать там когда-нибудь вместе. Я же, проходивший в кроссовках всю зиму, не имея возможности купить зимнюю обувь, имел мечты несколько скромнее, но все равно ответил ей, что полностью поддерживаю ее мысли. В конверты с письмами я вкладывал всегда свои рисунки, преимущественно это были картинки, срисованные с различных постеров, либо наброски карандашом загородных пейзажей. В этот раз она попросила нарисовать ей Москву. Я удивился такой просьбе, но поехал в центр и, бродя по Ленинскому проспекту, думал, какой же ракурс стоит передать. Таким образом я дошел до Кадашевской набережной, откуда и вышел к Кремлю. Я решил нарисовать вид с Красной площади на храм Василия Блаженного. Сидел я довольно долго, детально вырисовывая купола – здания всегда вызывали у меня трудности. Наверное, стоило придумать что-то более оригинальное, но я выбрал именно это место – с фантазией в тот день явно были некоторые сложности. Часы пролетели незаметно, когда я закончил, уже стемнело. Вдумчивые туристы с фотоаппаратами постепенно подменялись людьми «навеселе», блуждающими по барам от Китай-города вплоть до Пушкинской.

Домой я вернулся затемно, но все равно раньше отца. В квартире пахло остывшей яичницей и одиночеством. Я не спрашивал у отца, чем он занимался допоздна – задавать вопросы было бесполезно. Он отвечал бы уклончивыми, заученными фразами, за которыми скрывалась целая вселенная чего-то тяжелого и недоступного моему пониманию.

Дед, словно угадав мое смятение, махнул мне рукой в сторону кухни. Не говоря ни слова, он достал из буфета пузатую бутылку с мутноватой жидкостью, в которой плавали какие-то корешки и темные ягоды.

– Вот, согреешься, – хрипло произнес он, наливая мне в стопку густую, пахнущую травами и медом настойку.

Мы сидели так перед телевизором, где беззвучно мелькали какие-то тени, и пили, пока бутылка не опустела. Горьковато-сладкая жидкость обжигала горло, а по телу разливалась тяжелая, древесная теплота. Так я напился во второй раз в жизни. И уснул прямо в кресле.

Отец вернулся под утро. Скрип двери, тяжелые шаги в прихожей... Я сквозь сон видел его силуэт на пороге – сгорбленный, невероятно замученный. Он молча постоял, посмотрел на меня, на деда, на пустую бутылку, но не сказал ни слова. Просто развернулся и ушел в свою комнату. А я, упиваясь своей юношеской обидой и жалея себя, не проявил ни капли сочувствия. Не спросил: «Пап, что случилось?». Не предложил помочь. Не попытался понять.

Постепенно жизнь начала брать свое. Я, словно выползая из подземелья, возвращался в социум. Стал лучше учиться, снова проводить время с друзьями. Однажды мы ужинали в огромной уютной квартире Дворяна.

– А вы вообще видели, как Марк рисует? – с набитым ртом вдруг произнес Мишка, обращаясь к родителям Дворяна – Это ж просто Вася... Васнецов какой-то! Реально гениально!

После долгих шуточных уговоров и просьб я сдался и на следующей неделе принес им один из своих натюрмортов, самый простой: раскрытое окно, на подоконнике – клубок шерсти и незавершенный вязаный носок, будто хозяйка только что вышла на минутку.

Мама Дворяна, женщина с мягкими глазами и теплыми руками, смотрела на картину молча, а потом ахнула и схватила меня за плечи.

– Марк, это прекрасно! В этом столько света, столько... дома! – воскликнула она. – Я хочу ее купить у тебя. Назови цену.

Я покраснел и замотал головой.

– Нет, что вы... Это вам подарок. Очень маленький знак благодарности за все, что вы для меня сделали.

Я был безумно тронут их отношением, их настоящим, неподдельным интересом. Взять деньги было бы кощунством. Мою картину они действительно повесили в гостиной, в самой большой комнате. Правда больше всего в этом подарке мне нравилась не моя работа, а та невероятно дорогая резная золоченая рамка, которую они специально для нее купили.

Жизнь потихоньку налаживалась. Вернее, я учился жить в новой реальности. А в моем почтовом ящике все чаще появлялись конверты с новосибирским индексом. Алиса писала, что ее надежда тает с каждым днем. «Ждать ответа так долго с каждым разом все сложнее, Марк...» – это предложение резало меня острее любого ножа.

Иногда я брал телефон Дворяна, чтобы услышать ее голос.

– Только при мне и не долго! – строго предупреждал он, суя мне в руки аппарат. – Роуминг, братан, дорогой! Секунды считаются!

Я звонил, слышал ее смех, и сердце разрывалось от тоски. Но мне хотелось большего – писать ей СМС-ки, обмениваться глупыми сообщениями, просто знать, что она там, в кармане. Это желание стало навязчивым. Я снова загорелся идеей заработать.

Когда наступило лето, в своем письме, где я очень выразительно поздравил ее с днем рождения, я вывел самое главное: «Алис, я нашел работу. Я устроился официантом в небольшое грузинское кафе. Накоплю на телефон. Скоро мы сможем говорить каждый день».

Спустя несколько недель пришел ее ответ. Конверт был легким, но слова в нем были полны эмоций: «Марк, я очень удивлена! Но безумно рада за тебя! Ты у меня такой взрослый вдруг стал!». А еще она хвасталась подарком отца – дорогими швейцарскими часами, о покупке которых, по ее словам, она упрашивала его несколько месяцев. Я смотрел на свои потертые кроссовки и вспотевшие от подносов руки, и между нами снова вырастали те самые три тысячи километров. Но теперь я знал, что могу их преодолеть.

Глава 3

Грузинское кафе «Тбилисо» представляло собой узкое, но уютное помещение с выцветшими фотографиями гор на стенах и пластиковыми столиками в клетчатых скатертях. По утрам воздух пропитывался ароматом свежее испеченного хачапури и чесночного соуса, а к обеду смешивался с запахом жареного бараньего жира и аджики. По вечерам включали неяркие лампы в виде старинных фонарей, отчего зал наполнялся золотистым светом.

Я начал с мойки посуды. Горы тарелок, испачканных в аджике и соусе ткемали, казались бесконечными. Руки быстро покрылись мелкими царапинами от ножей, а запах чеснока и кинзы въелся в кожу так, что не выводился даже после душа.

Через две недели меня перевели в официанты. Мне выдали бежевую рубашку с вышитым воротом и черные брюки, которые постоянно пахли хмелем от разлитого пива.

– Ты быстро соображаешь, – сказал хозяин кафе, грузин дядя Гоча, хлопая меня по плечу.
– Но запомни: клиент всегда прав, даже если он полный козел.

Работа оказалась адской, но интересной. Утром я помогал поварам на кухне – чистил овощи, месил тесто для хачапури, нанизывал шашлык на шампуры. К полудню зал заполнялся посетителями, и начинался бег с подносами.

– Два хачапури по-аджарски, чанахи и лаваш!

– Где мой чай?! Я заказывал десять минут назад!

– Молодой человек, у вас в меню написано «острое», но это просто ядерная смесь!

Я учился улыбаться даже самым вредным клиентам, запоминать сложные заказы без блокнота и ловко уворачиваться от пьяных похлопываний по плечу.

Повар Гия, рыжий детина с обожженными пальцами, постоянно кричал:

– Марко, быстрее! Клиент не будет ждать, пока ты считаешь звезды!

– Вечерние смены по пятницам и субботам были самыми тяжелыми – приходили компании «под коньяк», заказывали «на всю катушку», шумели, требовали музыку громче. Тогда воздух гудел от смеха, звенели бокалы, а облака сигаретного дыма висели под потолком. Иногда кто-то рвал скатерть, разбивал посуду, но хозяин кафе, дядя Гоча, только хмурился и говорил:

– Ничего, это хороший знак – значит, веселятся от души.

Платили раз в неделю – две тысячи рублей, для меня это были первые в жизни свои деньги (не считая мелочи, заработанной в лагере).

Первым делом я купил еды – молоко, хлеб, яйца, даже немного фруктов. Холодильник, который последние месяцы пустовал, наконец наполнился.

Дед, увидев это, хмыкнул:

– Ну, смотри, не растратил все на ерунду.

Но в глазах старика читалась гордость.

Вторая зарплата пошла на джинсы, третья – на кроссовки. К середине августа я подсчитал накопления – до простенького мобильного было еще далеко.

– Остаюсь работать и в учебное время, – объявил я за ужином.

Отец лишь кивнул.

После этого жизнь превратилась в рутину: подъем, школа, кафе и падение без сил на кровать ближе к полуночи. Иногда, перед сном, я писал Алисе. Коротко – о работе, о новых знакомых, о том, как Гия пытался научить меня лепить хинкали (безуспешно). Ответа приходилось ждать долго, но каждое письмо пахло ее духами и надеждой. Телефон пока оставался мечтой. Но я уже знал – рано или поздно я его куплю. И тогда первым звонком будет звонок ей.

Зима выдалась особенно холодной. По вечерам, когда я возвращался с работы, меня встречал теплый свет в кухне – дед сидел за столом, грел чайник на газовой плите и нарезал сало тонкими прозрачными ломтиками.

– Ну что, работяга, как дела в твоём грузинском царстве? – хрипел он, пододвигая мне стакан с чаем.

Я отогревал озябшие пальцы и рассказывал о новых клиентах, о том, как Гия читает какую-то молитву, похожую на заклинание, прежде чем замешивать тесто для хачапури, и как сегодня в кафе завалила целая свадьба, которая возвращалась с торжества, и мне пришлось три часа подряд носить подносы с шашлыком.

Дед слушал, кивал, и в его глазах снова начал появляться живой огонек.

– Молодец, внук, – хлопал он меня по плечу. – Настоящий мужик.

Отец в последнее время тоже стал чаще бывать дома. Он молчал, курил на балконе, но хотя бы ужинал с нами.

А потом случился тот вечер. Я только вернулся из кафе, принес в потрепанном пакете остатки хачапури – повара, знавшие нашу ситуацию, всегда оставляли мне что-нибудь. Дед, сидевший в своём кресле у окна, вдруг поднялся, кряхтя, и направился к серванту. Он достал оттуда запыленную бутылку водки без этикетки, которую, как оказалось, припрятал «на особый случай».

– Давно не пили вместе, по-мужски, – пробурчал он, расставляя на столе три простых гранёных стопки. Их звон показался неестественно громким в тишине комнаты.

Мы выпили по первой. Огонь растекся по жилам, но не согрел. По второй. Отец, до этого молчавший и смотревший в одну точку, налил третью. Его пальцы заметно дрожали, когда он поднимал стопку. И вдруг, не допив, он с глухим стуком поставил её на стол, опустил голову на сложенные руки и зарыдал – тихо, беззвучно, но все его тело содрогалось от этих сдержанных, давящих рыданий.

– Я... я не хотел, – его голос прорвался сквозь слезы, хриплый и разбитый. – Денег с продажи квартиры не хватило... Я должен был... отдать кредит.

Я замер, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Воздух в комнате стал густым и тяжелым.

– Какой кредит? – спросил я тихо, почти шепотом, боясь спугнуть эту горькую исповедь.

Отец не ответил сразу. Он с силой вытер лицо ладонью, оставив на щеках красные полосы, а потом резко опрокинул стопку в себя, будто пытаясь смыть слова, которые никак не могли вырваться наружу.

– Дело... дело прогорело, – начал он, глядя куда-то мимо нас. – Я не справился. Сдался этим летом. Снова запил, забросил все к черту. Не мог... просто не мог справиться с тем, что она ушла. И все... все пошло под откос. Все, что мы с ней строили.

Воцарилась тишина, нарушаемая лишь прерывистым дыханием отца. Я смотрел на него и видел не того сильного, уверенного мужчину из своего детства, а сломленного, изможденного человека, придавленного грузом собственных неудач.

– Пап... – я сглотнул ком в горле. – А куда же ты тогда уходил? Кем работал все это время?

– Водителем, – прозвучало горько и просто. – Иногда... грузы возил. Иногда пассажиров. Лишь бы деньги какие-то были. Лишь бы...

Я закрыл глаза и глубоко вздохнул. В этом горьком признании была вся наша с ним правда последних месяцев – его бессилие, его долгое отсутствие, его молчаливые страдания.

Дед все это время мрачно наблюдал за нами, сидя с прямой спиной, и его старческие, но все еще зоркие глаза метали молнии. И вдруг он с такой силой ударил кулаком по столу, что стопки подпрыгнули и зазвенели.

– Хватит! – его голос прорвал тяжелую атмосферу, как удар грома. – Все, сынок, хватит! Хватит корить себя! Теперь мы вместе. Втроем. И мы все наладим. Все! Слышишь?

Отец медленно поднял на него взгляд, полный стыда и боли, и кивнул. Потом он вытер оставшиеся слезы тыльной стороной ладони, встал и, шатаясь, подошел ко мне. И обнял. Впервые после ухода матери. Его объятие было неуклюжим, дрожащим, но в нем была вся невысказанная тоска и раскаяние.

– Прости меня, Марк, – прошептал он, и его голос сорвался. – Прости, сын. Я подвел тебя.

Я не нашел слов. Просто обнял его в ответ, чувствуя, как что-то ледяное и тяжелое внутри начинает понемногу таять.

А наутро мы все делали вид, что ничего не было. Запах вчерашней водки выветрился, стопки были убраны, а на столе дымился горячий чай. Но что-то в воздухе изменилось. Стыд и вина, наконец вырвавшиеся наружу, уступили место хрупкому, но настоящему перемирию. Мы молча ели завтрак, и в этом молчании уже не было пропасти – лишь общая, еще не зажившая рана и тихая надежда, что теперь, когда все карты на столе, можно начинать собирать осколки нашей жизни заново.

Каждый день после школы я заглядывал в салон связи, где в витрине лежал Sony Ericsson K750i – с камерой, с mp3-плеером, со всем, о чем я мог мечтать.

Но учеба давила. В выпускном классе нельзя было расслабляться, и мне пришлось сократить смены в кафе.

– Марк, ты вообще спишь? – спрашивал Дворян, когда мы встречались в выходные.

– Как зомби, – ухмылялся я.

Но в новой школе было легче. Класс оказался дружным – ребята собирались после уроков, ходили в кафешки, спорили о музыке. Я, к своему удивлению, быстро влился в компанию – мои истории о работе в грузинском кафе вызывали хохот. В прошлое ушло прозвище «мамонтенок», здесь меня просто звали по фамилии – Родионов.

Но одна девушка держалась особняком – Кристина Белова. Она приходила в школу в рваных колготках, с ярко-синими волосами и черной подводкой, которая делала ее взгляд колючим. Говорила мало, курила за углом с парнями из ПТУ и смотрела на всех свысока.

«Странная девчонка», – писал я Алисе.

Алиса отвечала:

«Она явно хочет выделиться. Но за этой маской – пустота. Держись подальше, не трать на нее время».

Тогда я думал, что не подойду к этой девушке ближе, чем на метр.

Наши письма с Алисой становились все нежнее.

«Я хочу снова услышать твой голос», – писала Алиса.

«Я хочу коснуться твоей руки», – признавался я.

В следующем письме я нашел листок с контуром ее ладони – она обвела свою руку карандашом. Я прижал листок к своей ладони и закрыл глаза.

Чуть менее чем за месяц до нового года я накопил нужную сумму. Жизнь складывалась как в сказке: хорошие оценки, свободные деньги, время с друзьями, отличные отношения с одноклассниками. Последним выдающимся событием стало то, что отец теперь торговал автомобильными деталями на рынке. Официально. Это значило только то, что он отработал свой долг и теперь свободен. Как будто бы теперь он снова становился любящим отцом. Денег все еще не хватало, но я решил уйти с работы и сконцентрироваться на учебе по просьбе отца.

– Марк, – сказал он мне однажды, – ты очень многое сделал для нашей семьи, ты не сломался даже тогда, когда сломался я, пришло время мне снова стать отцом, а тебе сыном, займись учебой, ты умный парень, закончи школу, получи профессию.

Так я и решил поступить. Осталось только обзавестись телефоном. Все складывалось как нельзя лучше. Да – я был измотан, я почти полтора года не видел девушку, в которую был влюблен, ближайшую зиму я снова должен был отходить в летних кроссовках (зато новых!), но я был счастлив. Ко мне вернулся отец, дед снова выглядит живым, а впереди как будто бы лучшая жизнь, до которой осталось рукой подать. У меня даже были шансы поступить в институт, и мы даже подумывали с Алисой, что можно было попасть в один вуз.

Глухой, финальный щелчок замка прозвучал как приговор. Я держал в руках содержимое. Непрочный бумажный пакет, в котором хранилась моя свобода. Деньги. Не астрономическая сумма для кого-то, но для меня – каждая купюра была добыта ценой огромных усилий. Я боялся держать их дома. Отец... его «мгновения слабости» были предсказуемы. Что-то, какое-то щемящее чутье, подсказывало, что он не устоит. Не из злости, нет. Из отчаяния. Снова запьет. А я не мог рисковать.

В голове стучала одна и та же мысль, как мантра, как молитва: Завтра утром. Завтра утром я куплю мобильник. И тогда... тогда я услышу ее голос. Эта мысль согревала лучше любой куртки.

Последняя смена в душном кафе затянулась допоздна. Дед как всегда позвонил на рабочий телефон – старый аппарат с крутящимся диском.

– Дождаться тебя? Суп оставил, – прохрипел он в трубку, и я представил, как он сидит в тишине нашей пустой квартиры.

– Нет, дед, не жди. Ложись.

– Ладно. Иди осторожно. На улице, слышал, гололед.

Он не преувеличивал. Фонари на нашей улице, давно умершие, не освещали путь уже который месяц. Я шел, вжав голову в плечи, прижимая к груди сумку с пахнущей едой униформой. В правом кармане куртки лежал конверт. Я чувствовал его при каждом шаге – жесткий прямоугольник, обещание завтрашнего дня.

Машина вынырнула из крошечной тьмы беззвучно, как призрак. Белые «Жигули», седьмая модель. Они не ехали – их несло, занесенные на обледеневшей дороге. Сначала я увидел только слепящий свет фар, потом – темный силуэт, пляшущий на льду. Визг тормозов был коротким и беспомощным, звук рвущегося металла. Я инстинктивно отпрыгнул назад, но было поздно. Бампер с глухим тупым ударом пришелся мне в бедро. Мир опрокинулся, завертелся. Последним, что я успел увидеть, перед тем как голова с размаху ударилась о бетонный бордюр, было черное, беззвездное небо.

– Сука... Твою мать! – из машины выскочил парень. Лет восемнадцати, не больше. Лицо перекошено паникой и злостью. Голос его был до ужаса писклявым – Ты че, слепой, ублюдок?! Дорогу перебегаешь!

Я попытался приподняться на локте, но мир плыл, расплывались и контуры его фигуры. По щеке текло что-то теплое и липкое – кровь затекла за воротник.

Парень замер, сжав кулаки, дыхание его вырывалось клубами пара в морозный воздух.

– Черт... – он дико огляделся по сторонам. Улица была мертва. Ни души. Ни огонька в окнах. Только ветер да хруст снега под его сапогами.

Я потянулся к нему рукой, пальцы плохо слушались.

– По... помоги... – выдохнул я, и голос мой прозвучал хрипло и чуждо.

Он сделал шаг вперед, может быть, чтобы поднять меня. Но в этот момент моя куртка, распахнувшаяся при падении, выпустила на волю свое сокровище. Конверт выскользнул, порвался, и десятки пятисотрублевых купюр, как осенние листья, разлетелись по грязному, заиндевевшему снегу.

– Ахиреть... – прошептал парень. Его глаза, полные страха секунду назад, теперь округлились от жадного изумления. Он застыл, глядя на разбросанные деньги. На мою несбывшуюся мечту, лежавшую у его ног.

Я из последних сил попытался схватить его за рукав.

– Нет... подожди... это не твоё... – я задыхался.

Мой жест словно вывел его из ступора. Он резко дернулся, и его тяжелый сапог со всей силы врезался мне в бок. Белая, обжигающая молния боли пронзила ребра.

– А ну, тихо, падла! – его голос сорвался на визг.

Я скрутился калачиком, не в силах крикнуть, лишь хватая ртом холодный, колющий воздух. Краем затуманенного зрения я видел, как он, торопясь и роняя, швыряет мои деньги в салон «Жигулей». Две купюры подхватило ветром и унесло под днище машины. Он даже не взглянул на них. Не наклонился.

Дверца с грохотом захлопнулась. «Жигули» с пробуксовкой дернулись с места и растворились в темноте, откуда появились.

Тишина.

Я лежал на спине, глядя в черное небо. Хлопья снега медленно падали на мое лицо, смешиваясь с кровью на виске и застывая слезами на щеках. В ушах стоял оглушительный гул, заглушавший все. Я не кричал. Не звал на помощь. Не было сил.

Я разжал онемевшие пальцы и посмотрел на то, что удалось сохранить. Единственная пятисотрублевая купюра. Она закатилась под рукав, когда я падал. Промокшая насквозь, размокшая, порванная почти пополам. Жалкий, бесполезный клочок бумаги. Символ всего, что только что случилось. Я сжал его в кулаке, чувствуя, как он леденит ладонь. И закрыл глаза.

В больнице я очнулся только утром. Перелом двух ребер, сотрясение, швы на брови. Дед рассказал, что нашел меня посреди дороги. Он шел по следам шин, пока наконец фонарик в его руке не выхватил из темноты мое окровавленное лицо.

– Деньги... – первое, что я прошептал.

Дед молча сжал мою руку.

Дома я нашел в кармане куртки обрывок купюры. Я положил его в коробку из-под «Рафаэлла» – туда, где лежали письма Алисы. Вечером я написал ей. Дрожащими руками.

«Прости. Я был так близко. Но, кажется, мир не хочет, чтобы мы говорили. Мне нужно... начать все сначала».

В конверт я положил порванную пятисотрублевку – как доказательство, что я не вру.

Заявление в милицию я написал, однако, учитывая сотрясение, мои показания о внешности парня и номеров его машины показались им недостоверными, мне сразу сказали, что это дохлый номер и никого все равно не найдут. Мы решили, что они просто не особо были в этом заинтересованы. После этого дед дал мне свой старый нож. Не знаю, как он бы мне помог в ситуации с «Жигулями», однако я пообещал ему носить его всегда с собой. Я снова хотел выйти на работу через неделю, но после сотрясения какое-то время я был совершенно ни на что не способен. А тот самый телефон, которым я постоянно любовался с витрины салона, купил кто-то другой.

Глава 4

Боль не уходила. Сломанные ребра ныли при каждом вдохе, а швы на брови тянули кожу, когда я хмурился. Я почти не вставал с кровати – учителя присылали задания через одноклассников, но тетради оставались нетронутыми. Даже читать письма Алисы было больно: ее слова, такие теплые и далекие, лишь глубже вгоняли в меня чувство бессилия. Она утешала меня как могла. Она писала о том, что время скоротечно, что все наладится, главное сейчас думать о здоровье. И вообще она рекомендовала не возвращаться на работу, так как мне пора бы взяться за учебу. До конца школы оставалось полгода, и если я не постараюсь, то мы не сможем попасть в один вуз. Я знал, что она права, рисковать светлым будущим ради невзрачного настоящего было опрометчиво. Я принял решение поступить в университет любыми силами и средствами.

Дворян и Мишка пришли один раз – принесли пачку чипсов и колу.

– Держись, братан, – хлопнул меня по плечу Дворян, но тут же смутился, увидев, как я побледнел от боли.

Они посидели десять минут в неловком молчании и ушли, пообещав «заглянуть еще». Не заглянули.

Декабрь тянулся мучительно долго. Я смотрел в потолок, слушал, как за стеной дед кашляет по ночам, и думал о том, как нелепо устроен мир. Как же я был близок...

31 декабря. Кухня пахла мандаринами и жареной курицей. Отец, к моему удивлению, умудрился заработать и даже купил бутылку шампанского. На столе красовался скромный, но настоящий праздничный ужин: холодец, нарезанная колбаса, «Советское» шампанское и шоколадные конфеты в вазочке.

– У нее уже Новый год, – вдруг сказал отец, зажигая третью сигарету подряд.

Я кивнул:

– Разница в четыре часа.

Отец затаился, затушил сигарету о подоконник и неожиданно полез в тумбочку.

– Тогда придется вручить подарок пораньше.

Он протянул мне коробку.

Внутри лежал телефон. Не Sony Ericsson, а простенький Nokia 1110 – черно-белый экран, никаких камер и музыки. Но у него была заряженная батарея и... сим-карта.

Я не верил своим глазам.

– Ты... как?..

– Взял в рассрочку, – отец отвернулся, будто стесняясь. – Ну все, звони своей принцессе, пока не наступил наш Новый год.

Я до сих пор помню, как сорвался с места. Я рылся в ящике, вываливал старые тетради, пока не нашел заветный листок – потрепанный, с ее номером и адресом.

Пальцы дрожали, когда я набирал цифры.

Гудок.

Второй.

– Ал... ло? – ее голос, такой знакомый и незнакомый одновременно, прозвучал как спасение.

– Это я... – прошептал я.

На том конце провода раздался вскрик, потом смех, потом что-то неразборчивое.

– Марк! Марк, правда ты? Я так ждала!

Мы говорили всего пятнадцать минут. Обещали друг другу, что когда-нибудь Новый год встретим вместе. Что я приеду к ней или она ко мне. Или мы останемся в общежитии. Что все будет хорошо.

Когда я вернулся на кухню, отец и дед уже наливали шампанское.

– Ну что, герой, все в порядке? – хрипло спросил дед.

Я не ответил. Просто подошел к отцу и обнял его.

К утру мы допили шампанское, доели холодец и даже спели «В лесу родилась елочка». Дед пустился в пляс, уронив табуретку, отец хохотал так, что чуть не подавился сигаретным дымом. А я сидел у окна и смотрел на снег за стеклом. В кармане у меня лежал телефон. И первая сохраненная СМС: «Спокойной ночи. Я так счастлива, что услышала тебя».

Праздничные дни растянулись, как январский снег – длинные, светлые, наполненные негромким счастьем. Я потихоньку приходил в себя: ребра больше не ныли при каждом движении, а шрам на брови превратился в тонкую белую ниточку. По вечерам я выходил на балкон, кутался в дедов тулуп и разговаривал с Алисой.

– Ты представляешь, у нас тут минус двадцать, – смеялась она в трубку. – Но я все равно мчусь на каток при каждой возможности!

Я слушал, прикрыв глаза, и представлял ее – в синей шапке, с покрасневшими от мороза щеками.

– А у нас слякоть, – отвечал я, невольно прикасаясь к вязаному браслету на запястье, – Дед говорит, что это глобальное потепление.

Мы болтали обо всем: о ее подготовке к экзаменам, о моих учебных пробелах, которые надо срочно наверстывать, о том, как однажды мы уедем в Нью-Йорк и будем встречать рассвет на Бруклинском мосту.

– Ты же знаешь, что там толпы туристов? – подкалывал я.

– Ну и что? – в ее голосе звенел вызов. – Мы будем самыми красивыми из них.

Единственное, что омрачало наше общение – невозможность писать в ICQ.

– Все мои одноклассники там, – вздыхала Алиса. – А ты, как древний динозавр, с твоей Nokia.

– Зато я звоню, как настоящий джентльмен, – парировал я, и она смеялась.

Однажды довольно поздно позвонил Дворян. Телефон завибрировал на тумбочке среди ночи.

– Марк, ты спишь? – голос Дворяна звучал непривычно оживленно.

– Теперь нет, – я сел на кровати, протирая глаза.

– Слушай, мама твою картину показала своим подругам. Тем, что с «Роснефти». Им понравилось. Готовы купить пару штук.

Спросонья я не сразу понял, о чем речь. Потом вспомнил – я же нарисовал для семьи Дворяна пейзаж.

– Они хотят что-то похожее, – продолжал Дворян. – Только чтобы посовременнее. Может, вид на город?

Я молчал. Я действительно иногда рисовал – в основном в те редкие моменты, когда боль от потери денег становилась невыносимой. Но продавать свои работы?..

– Сколько они готовы платить?

– Сумму не называли, но вряд ли много. Там не шибко-то расточительные люди на самом деле. Для них как раз это способ сэкономить, – после паузы он добавил, – да, Марк, богатые люди тоже жадные. Возможно поэтому они и богатые.

На следующее утро я достал с антресолей коробку с красками. Они были почти сухие, но еще годились для работы.

Школа же началась с моего неожиданного рвения. Я садился на первые парты, исправно делал домашку и даже вызвался делать доклад по литературе. Учителя переглядывались – еще в декабре я был тенью, а теперь горел, как новогодняя гирлянда.

После уроков я спешил домой, где на подоконнике меня ждали холсты. Первую картину – вид МГУ сквозь дождь – я писал две недели. Вторую, ночной трамвай в снегу, закончил за три дня.

Дворян, забрав работы, свистнул:

– Да ты, блин, Левитан!

Три купюры по тысяче рублей я положил на стол отцу.

– Это что? – тот нахмурился.

– За телефон. И за связь.

Отец долго смотрел на деньги, потом кивнул:

– Ладно. Только экономнее.

Но в голосе его уже не было прежней раздраженности.

Когда я сидел на уроке, Алиса прислала СМС:

«Сегодня видела ворона. Он сидел на ветке и смотрел прямо на меня. Я решила, что это ты меня проверяешь».

Я, пряча улыбку от одноклассников, ответил:

«Если бы я превратился в птицу, выбрал бы сокола. А не какого-то мрачного ворона».

Она прислала смайлик. Потом еще одно сообщение:

«Может, мы увидимся летом?».

Потом следующее сообщение:

«Давай выберем одну дату, чтобы приехать в одно время для подачи документов и написания вступительного экзамена. Родители правда вряд ли отпустят меня одну, но мы что-нибудь придумаем».

Идея была отличной. Но вопрос снова упирался в деньги. Столько всего нужно было решить и обдумать. Мы даже не выбрали окончательный город. Москву она не рассматривала, была уверена, что не поступит, даже несмотря на мои уговоры. Плюс она пока боялась учиться далеко от родного города. Уехать из Новосибирска ей очень хотелось, но не настолько далеко. Мы думали о Казани и Екатеринбурге. Отец говорил, что глупо уезжать из Москвы и жить на стипендию в общежитии, когда я бы мог жить дома. Но, увидев огонь в моих глазах, он отступил и больше не поднимал этот вопрос.

– Марк у нас уже здоровый мужик, хочет ехать учиться невесть куда из-за бабы, пусть едет, – смеялся дед.

– Дед! – ворчал я.

– Что? «Баба» сейчас обидное слово? Эх, какие сейчас все неженки. Ну извини!

Итого для друзей семьи Дворяна я продал шесть картин. Эти деньги я отложил, они мне еще должны были понадобиться.

Наступил февраль. Месяц был насыщенным, однако одно, казалось бы, незначительное событие имело самые глубокие последствия. Кристина, о которой я упоминал, сторонилась всех, но ко мне, как мне казалось, питала особенную, молчаливую неприязнь. Именно она, сама того не желая, подарила мне пару мгновений дешевой школьной славы.

Не знаю, что мной двигало в тот миг. Не злой умысел – скорее, глупая, беспечная бравада, что так свойственна юности. По крайней мере, я в этом убеждал себя.

На уроке я краем глаза заметил, как она, сгорбившись, что-то самозабвенно выводила в потрепанном блокноте. И едва прозвенел звонок, я рывком выхватил злосчастный листок, подняв его, как трофей, на потеху сбежавшемуся классу.

Раздались возгласы: «Беги, Марк, беги! Она тебя сожрет!», «Марк достаточно смел, чтобы бросить вызов нашей ведьме!», «Он похитил страницу из ее гримуара!».

Последняя шутка прозвучала зловеще иронично. Потому что на смятом листе, испещренном карандашными пометками, лежали не магические формулы. Там жили стихи. Причем весьма неплохие. Глаза пробежали по строкам. Я прочитал вслух:

«Прощай мой лепесток, упавший с розы,

Прощай моя мечта, что зиждилась в дали,

И теплым дням пришли на смену грозы,

Сгорело все дотла, мосты все сожжены.

Прощай любовь, дарованная жизнью,

Прощай весь свет, что жил ради любви,

И мирозданье, сотканное нитью,

Теперь безмолвно, сколько ни зови.

От мира лишь осталась одна пустошь,

Но миру нипочем, построен будет вновь,

И солнце, что пока сияет тускло,

Раскроет множество прекраснейших цветов...».

Все загоготали, а я побежал в коридор, она ринулась за мной под крики толпы. Оторвавшись от нее (долгие часы работы на ногах изрядно прокачали мою выносливость), я остановился. Вдруг я осознал, что сделал.

– Прости, – единственное, что я сказал, протягивая помятую бумагу, когда поднял взгляд и встретил ее глаза.

Она вырвала у меня листок, развернулась и молча ушла с гордо поднятой головой. Вдруг я понял, что всеобщая неприязнь к этой девушке давно передалась и мне, я следовал за толпой как в поступках, так и в мыслях. Раньше бы я так не поступил. Наконец совесть взяла свое и я пошел за ней.

– Эй, я не знал, это была просто шутка, – я попытался взять ее за плечо.

– Отвали, мне наплевать, что это было – она ловко вывернулась.

Возможно, у меня были шансы успокоить ее и нормально извиниться, и избежать ее мести в будущем, но тогда эту историю на паузу поставил телефонный звонок. Это был звонок из больницы от отца.

– Марк? – его голос звучал непривычно сдавленно. – Дед в больнице. Приступ. Не критично, но... Мне надо на работу. Приедешь?

Через тридцать минут я уже был на месте. Дед лежал на жесткой койке, подключенный к аппарату, он спал. Скорее всего, благодаря препаратам. Врач сказал, что в данный момент его жизни ничего не угрожает и вообще я могу идти домой. Но я остался и взял его руку, и ждал час... два... три, но он так и не приходил в сознание. В какой-то момент, сидя на неудобном стуле, опустив руки на колени, я уснул. Мне снился лагерь: ночь, костер, шум леса и она... языки огня отплясывали в ее темных глазах, мы держались за руки, а она тянулась ко мне.

Я проснулся от того, что дед ругал медсестру за то, что та «слишком туго» затянула манжету тонометра.

– А, внук очнулся! – хрипло засмеялся он, увидев, что я начал потирать глаза, пытаюсь осознать, где нахожусь. – Небось думали, что от меня отвяжешься? Даже не мечтайте. Всех переживу!

– Не сомневаюсь! – кивнул я и обнял его.

После долгих уговоров я наконец направился домой. Дед сказал, что я все равно буду только мешать ему спать, хотя я понимал, что он просто обо мне заботился. На следующее утро я пришел снова.

День тянулся медленно. Я читал деду газеты, ходил за водой, слушал, как тот ворчит на врачей. К вечеру дед оживился:

– Ну что, художник, скоро учиться уедешь – и забудешь, где деда схоронили.

– Перестань, – я нахмурился. – Я буду приезжать. Каждые выходные.

– Ха! – дед фыркнул, но глаза его блестели. – Ладно уж. Только смотри, привози эту свою... как ее... Наталью.

– Алису, – поправил я.

– Ну да, ее. Бабку мою звали Алисой, между прочим. Вредная была жуть!

– Не звали твою бабушку Алисой, ее Софьей звали.

– А, да? – дед ухмыльнулся, – да без разницы, все равно вредная.

Тишина. За окном садилось солнце, окрашивая палату в оранжевый свет.

– Марк... – дед вдруг стал серьезным. – Про отца не думай плохо. Я знаю, что он не такой как прежде. Понимаю, что тебе его не хватает. Он... он просто сломался. Дай ему время, и он снова станет любящим и заботливым папой, как был раньше.

Я кивнул. Я знал – за дедовым ворчанием скрывалось то, о чем старик никогда не говорил вслух: страх остаться одному, гордость за внука и боль за сына.

– Все наладится, – пробормотал я больше для себя.

– Обязательно, – хрипло согласился дед. – Только женскую руку бы в дом... Эх, вот твоя бы Алена...

– Алиса!

– Да какая разница! – дед махнул рукой, но вдруг закашлялся. Я подал ему воды.

– Слушай, дед... – Я замялся. – Я сегодня кое-что понял.

– Что? Что старики еще не все вымерли?

– Что люди... они не всегда те, за кого себя выдают.

Дед прищурился:

– Глубокомысленно. Это про ту синеволосую, что в твоей школе?

Я удивленно поднял брови.

– Откуда ты...?

– Я старый, а не слепой.

– Дед?

– Ладно, ладно, – дед усмехнулся. – Только смотри... Если уж любишь кого-то – люби по-настоящему. А не так, как твой отец – до первого ветра.

Я хотел возразить, но в этот момент в палату вошла медсестра – делать укол.

– Вали уже, художник, – буркнул дед, отворачиваясь. – И... передай отцу, пусть завтра чего-нибудь мясного прихватит. Больничная баланда – отравка.

На выходе я обернулся. Дед лежал, уставившись в потолок, но пальцы его беспокойно барабанили по одеялу – как всегда, когда он волновался.

Я вздохнул и вышел в холодный больничный двор. Стоило бы позвонить Алисе и поделиться событиями, но в тот день я просто хотел домой. Лечь и ни с кем не разговаривать.

Месть Кристины не заставила себя долго ждать. Дождь стучал по крыше школьного коридора, когда я задержался после уроков. В пустом кабинете «Трудов» я достал свой спрятанный холст – вид Бруклинского моста для Алисы. Набросок был особенным: в углу я изобразил нас двоих, маленькими силуэтами на фоне нью-йоркского рассвета. Я рисовал его здесь, потому что мне было нужно одиночество, чтобы сконцентрироваться. Подколы деда про «любовь сквозь расстояние и краски» хоть и были смешными, однако мешали моему желанию полностью отдаться данной работе. Но когда я сдернул покрывало, сердце упало:

– Что за...

Краска на холсте была испорчена. Чьи-то пальцы размазали небо и заходящее солнце, превратив нежный пейзаж в грязные разводы. А в углу красовалась нацарапанная губной помадой надпись: «ФАНТАЗИИ ДОЛЖНЫ УМИРАТЬ».

Из-за шкафа раздался смех.

– Ну что, Ван Гог, понравился перформанс?

Кристина вышла, облизывая палец с остатками синей краски. Ее рваные колготки и агрессивный макияж казались карикатурой на бунт.

– Ты... это сделала? – мой голос дрожал от ярости.

– Ой, испугался? – она пнула мольберт. – Всю неделю наблюдаю, как ты тайком рисуешь эту лабуду. Смешно. А какие у вас переписки милые. Пары СМС хватило, чтобы проникнуться всей этой фальшивой «любовью».

Я резко вскочил, опрокинув банку с растворителем.

– Как ты в мой телефон залезла, сука?!

– Достала из рюкзака, пока ты на физкультуре бегал, – ее голос внезапно стал низким и опасным. – Ты растоптал меня перед всем классом. Оpozорил.

– Я же сказал тебе, я не специально.

– Не специально?! Вырвал листок и пронесся по всей школе как с флагом, – ее голос дрогнул. Впервые за все время я увидел в ее глазах не злость, а боль, – раскрыл мою душу перед этими идиотами.

– Знаешь что? – я с силой швырнул палитру об пол. – Даже если это правда, ты всего лишь трусливая дрянь! Ты кичишься тем, что тебе плевать на всех, но тебя так задело их мнение?!

– С чего ты взял, что меня волнует их мнение, ты не думал, что эти слова про кого-то конкретного?!

– Что?! – сначала я не понял, но злость утихла. «Про кого-то конкретного?». Того, кто причинил ей боль, кто сделал ее такой отреченной и внешне неуязвимой, перед кем она никак не хотела показывать свою душу, показывать, как ей больно. Вероятно, этот человек был среди наших одноклассников.

– Ничего, Марк, – сказала она с чувством обиды и с какой-то иронией в голосе.

– Что? – да, мозг покинул мою голову в тот момент и других ответов я как будто бы не знал.

– Ой, иди ты... – она не закончила. В кабинет ворвалась завуч и отчитала нас за шум.

С испорченным полотном я шел с невиданным доньше чувством. Я ненавидел эту девочку за ее поступок, но в то же время мне было ее очень жаль. Я знал, теперь мы будем избегать друг друга, даже случайных взглядов.

Рассказывая эту историю Алисе, я почувствовал, как она тоже посочувствовала ей. Понимание Алисы меня даже несколько обеспокоило. Как будто бы ей это было знакомо. Мы никогда не говорили с ней о том, что мы верны друг другу и у нас однозначно есть чувства, но это как будто бы витало в воздухе. В тот момент я усомнился в этом на мгновение.

Глава 5

27 февраля. Канун моего восемнадцатилетия.

Эта дата навсегда врезана в меня не цифрами в паспорте, а шрамом на памяти. Я уверен, что в финале, когда сознание будет угасать, оно пронесет передо мной именно этот день. Не первую любовь, не детство, а его. Потому что он разделит все существование на «до» и «после».

Я помню тот вечер урывками, словно смотрю на старую, изорванную в клочья кино- пленку. Каждый такой клочок – острая заноза в памяти. Зимний вечер, неестественно тихий от глубокого постепенно тающего снега. Мы шагали с Мишкой и Дворяном по заснеженным улицам, наши голоса разбивали хрустальную морозную тишину. Мы говорили о ерунде – о школе, о девчонках, о глупостях, – и это было прекрасно. Это была та самая жизнь, обыденная и уютная в своей простоте. Та, какой я ее знал и какой она для меня больше никогда не будет.

22:00. Кинотеатр «Родина». Уже тихий, пропахший жареным маслом и дешевым одеколоном вестибюль. На стенах – выцветшие афиши с Брюсом Уиллисом и Джеки Чаном, смотревшими в пустоту потухшими глазами. Из-за круглого окошка кассы доносилось монотонное чавканье жвачкой – кассирша в синей униформе с отстраненным видом выдавала билеты.

– Нам три на последний ряд, – Дворян протянул в окошко смятые купюры.

– Комплект «попкорн плюс кола» будете? – голос кассирши прозвучал заученно, без единой интонации.

Мишка, не снимавший свою неизменную ушанку даже в оттепель, уже копошился у ларька с закусками:

– О, «Кириешки» со вкусом пиццы! Обожаю!

Я молча взял пакет с сомнительным вкусом «краба» и сунул его в карман джинсов.

Зал встретил нас своим особенных прохладным «киношным» запахом, смешанным с ароматом сладких духов. Под ногами хрустнул просыпанный кем-то попкорн. Кресла призывно звали опуститься на их бархатистые сиденья.

– Блин, я ж ничего не увижу отсюда! – заныл Мишка, яростно шурша пакетом.

– Зато если обделаешься от страха – никто не заметит, – хрипло хохотнул Дворян, водружая литровый стакан колы между ног.

На экране поплыли трейлеры, яркие и громкие, предвещая другой, ненастоящий ужас.

Фильм вцепился в зал с первых же кадров. Экзорцист в рясе махал крестом, святая вода шипела на теле одержимой. Зал дружно взвизгивал на каждом скримере. Атмосфера была почти осязаемой.

– Офигенный момент! – восторженно прошептал Дворян, забрасывая в рот горсть попкорна.

Когда финальные титры поползли вверх, а саундтрек затих, в зале воцарилась неловкая тишина, будто все зрители одновременно вынырнули из одного и того же тяжелого сна. Мы вышли на улицу, и холодный ночной воздух обжег легкие. Первые минуты мы шли молча, закутанные в собственные мысли, а потом обсуждение фильма прорвалось наружу – горячее, путаное, полное споров о мотивах героев и неоднозначной концовке.

– Нет, ты понял, почему он так поступил? – горячился Мишка, размахивая руками. – Он же был загнан в угол!

– Быть загнанным в угол – не оправдание, – парировал Дворян с присущим ему холодным спокойствием. – У каждого есть выбор.

И вот, в самый разгар этого спора, Мишка вдруг посмотрел на часы. Его глаза округлились.

– Блин, уже час ночи! – воскликнул он и, не сказав больше ни слова, с размаху набросился на меня с таким медвежьим объятием, что у меня, казалось, захрустели ребра.

– С днюхой тебя, Марк! Старик, черт возьми! – он ревел прямо в ухо, и от его голоса, полного искренней радости, стало тепло на душе.

Дворян, никогда не отличавшийся сентиментальностью, просто подошел и с тихим стуком похлопал меня по плечу, по-своему, по-мужски выражая поддержку.

– С днем рождения.

Мы пошли дальше по пустынным ночным улицам. Фонари отбрасывали на асфальт наши длинные тени, которые то убегали вперед, то тащились сзади. Город спал, и только наши голоса нарушали эту царящую вокруг тишину. Мы смеялись, вспоминали старые проделки, строили планы на будущее. В тот момент, под холодным звездным небом, мир казался бесконечным и полным возможностей, а мы были его хозяевами – бессмертными и непобедимыми.

Тишину ночного переулка, нарушаемую лишь нашими приглушенными шагами и далеким гулом города, внезапно раскололи приглушенные голоса, доносящиеся откуда-то сбоку. Мы замерли как вкопанные, инстинктивно сбившись плотнее. В густых сумерках, словно раскаленные угольки, замерцали несколько алых точек – тлеющие сигареты. В воздухе, до этого чистом и морозном, потянуло едким дешевым табаком и чем-то еще – тяжелым, сладковатым и отталкивающим: запахом перегара. Несколько темных фигур сидели на полуразвалившемся бетонном коробе теплотрассы, свесив ноги, и смотрели на нас. Но это были не случайные взгляды, мерцающие во мраке, они были тяжелыми, изучающими, как у волков, учувших добычу.

– Закурить не найдется, пацаны? – прокричал один из них, тощий, с птичьим лицом. Его голос, грубый и нарочито вызывающий, гулко отозвался между стенами домов.

– Пойдемте отсюда, – тихо, но с железной твердостью сказал Мишка, а потом, обращаясь к компании, добавил громче: – Мы уже уходим, свои дела.

– Это мы решим, когда вы пойдете, – из тени, не спеша, отделился самый крупный из них, их лидер. Он был высоким, широкоплечим, с тупым и жестоким выражением лица, на котором читалась привычка к безнаказанности. За его спиной, словно стая гиен, гоготали остальные, их смех был неприятным и нервным.

– Слушайте, – голос Мишки предательски задрожал, выдав наш страх, – нам не нужны неприятности.

– Нам просто закурить бы, – из тени вышел второй, низкорослый и вертлявый. Довольный, наглый оскал на его лице ясно давал понять, что на сигарете они не остановятся. – Мы же по-доброму просим.

– Мы просто отмечаем день рождения друга, – вступил Дворян, и его голос, обычно такой уверенный, теперь пытался обрести дипломатические, успокаивающие нотки. Он старался звучать как взрослый, ведущий переговоры с буйными детьми.

– Ну так в праздник положено делиться, – рядом с нами, словно из-под земли, вырос третий, перекрывая путь к отступлению.

– Держите, – Дворян, не спуская с них глаз, медленно полез во внутренний карман своей куртки и вытащил пачку «Бонда», где оставалась одна-единственная, примятая сигарета. – Последняя.

Лидер протянул руку, на секунду замешкался, его пальцы зависли в воздухе.

– Как-то не по понятиям последнюю забирать, – сказал он, пристально глядя прямо в глаза Дворяну, испытывая его, – Да, пацаны? – Он резко обернулся к своей банде.

– Клим, дак эти лохи не по понятиям живут, – ответил один из них.

– Бери, бери, я только покурил, – не моргнув глазом, парировал Дворян.

Уголок губы лидера, которого называли Климом, дрогнул в подобии улыбки. Он взял сигарету, ловко прикурил, затянулся. Затем резко, с рыком, дернулся в нашу сторону, пытаясь

напугать. Мы с Мишкой невольно вздрогнули и отпрянули. Дворян не шелохнулся, лишь его глаза сузились.

– Ладно, живите пока, – Клим широко, почти добродушно ухмыльнулся, демонстрируя свое мнимое великодушие. – Валите, утырки. – Его взгляд скользнул по мне. – С днюхой, лошпед!

Я молча кивнул, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди.

– Все, пойдемте, – торопливо сказал Мишка, уже отступая.

– Поторопитесь к мамочке, сосунки! – раздался крик из толпы.

– Правильно, проваливайте, пока целы, – прокричал еще один парень из тени, и от этого писклявого гнусавого голоса, словно скрип ржавого гвоздя по стеклу, у меня похолодело внутри и кровь отхлынула от лица.

Я встал как вкопанный. Ноги стали ватными, подкашивались, а сердце заколотилось где-то в горле, мешая дышать. Этот голос. Этот противный, визгливый тембр. Я узнал его.

– Что с тобой, Марк? – обеспокоенно прошептал Мишка, заметив мое окаменевшее, побелевшее лицо.

– Тот парень, – я едва слышно выдавил, с трудом отрывая взгляд от темноты, и кивнул в сторону незнакомцев. – Это он. Тот, что на «семерке». Он сбил меня тогда.

– Тебе показалось, – Мишка уже начал мягко, но настойчиво тянуть меня за рукав, пытаясь вывести из зоны видимости, увести от беды. – Здесь темно, Марк. Твой мозг тебя обманывает, ты не видишь их лиц.

– Голос, – я сжал кулаки. – Я никогда не забуду его голос. Никогда.

– Ты все равно не можешь быть на сто процентов уверен, – настаивал Мишка, и в его голосе, сквозь страх, пробивалась нарастающая тревога.

– Вот именно. – вдруг с ледяной решимостью заявил Дворян.

Мишка сначала обрадовался поддержке, но через секунду его лицо исказилось от абсолютного ужаса, когда он осознал, что именно имел в виду его друг. Он понял это раньше меня.

– Эй, писклявый! – Дворян сделал шаг вперед, его голос, низкий и звенящий, гулко разнесся по спящей улице, заставляя ту самую «гиену» обернуться. – Не ты случаем Марка сбил на своем ведре и ограбил?

– Ты что, сдурел?! – прошипел Мишка, хватая Дворяна за куртку. Он был готов бежать, но то ли принципы, то ли преданность друзьям вцепились в него мертвой хваткой.

Уже почти скрывшийся в тени Клим медленно обернулся. Его лицо теперь выражало лишь презрительное любопытство.

– Я смотрю, вы бессмертные, раз такую прыть проявляете? – он ехидно ухмыльнулся, оглядывая нас с ног до головы, как букашек.

– Мой друг просто ошибся, – снова, уже с отчаянием, вступил Мишка, пытаясь вложить в свой голос несвойственные ему умиротворяющие нотки. – Мы уже уходим, никаких проблем.

– Стоять! – снова, как ножом по стеклу, раздался тот самый писклявый голос. И его владелец вышел из тени, под слабый, мерцающий свет единственного работающего фонаря. Да, это был он. То самое лицо, что я видел над собой в ту ночь, когда лежал на асфальте, беспомощный и разбитый. Те же пустые, жестокие глаза, в которых не было ни капли раскаяния.

Дворян все понял по моему лицу. Он не дрогнул, лишь его собственный взгляд стал острым и холодным, как лезвие.

– Брат, – обратился Дворян к Писклявому, и его голос был удивительно ровным и твердым, будто высеченным из гранита. – Ты должен моему другу некую сумму денег. Хорошую сумму.

Стоящая напротив компания взорвалась грубым, издевательским хохотом, который эхом покатился по стенам. Из тени вышли остальные – всего их оказалось пятеро. Все – крепкие, с пустыми, ничего не выражающими глазами.

– Тебе, по ходу, голову продуло, возьми у друга ушанку поноси, – огрызнулся Пискалявый, но в его голосе проскользнула неуверенность. – С какого хрена я кому-то что-то должен?

– Ты сбил его на машине и забрал деньги, – Дворян не повышал голос, но каждое его слово било точно в цель, отчеканивая обвинение. Он был уверен и серьезен. Таким я его никогда не видел.

Пискалявый прищурился, внимательнее всмотрелся в мое лицо, и в его глазах что-то мелькнуло – да, он меня узнал.

– Точно! – выпалил он через несколько секунд с наглой бравадой, пытаясь скрыть внезапную растерянность. – Реально, это и вправду был ты. Ну и что?

– Верни деньги. Или... – начал Дворян.

– Или что? – перебил Клим, делая угрожающий шаг вперед, его тень накрыла нас. – Песню споете?

– Или мы пойдем в милицию, – холодно, без единой нотки сомнения, закончил Дворян.

Парни переглянулись и снова рассмеялись – на этот раз их смех звучал особенно зловеще и неестественно. Видимо, они знали что-то, чего не знали мы, какую-то свою, уродливую правду.

– А давайте вы лучше отдадите сейчас все свои бабки и свалите отсюда, пока живы, – предложил Пискалявый уже совершенно спокойным, почти ленивым тоном, в котором слышалась непоколебимая уверенность в своем превосходстве.

– У нас нет денег, – резко, сквозь зубы, ответил Дворян.

– У вашего друга-то точно должны быть, – ухмыльнулся Пискалявый, глядя прямо на меня с мерзкой, хищной усмешкой. – Я-то знаю. В тот раз было немало.

Я молчал все это время, скованный ледяными тисками ненависти и животного страха. Я смотрел в лицо этого ублюдка, и слова застревали в горле плотным, обжигающим комом, который невозможно было протолкнуть ни криком, ни стоном. Я даже не успел открыть рот, как третий из парней, коренастый и вертлявый, оказался рядом и с силой вцепился в мою куртку. Пискалявый тут же, с отточенной, профессиональной быстротой, полез рыться в моих карманах. Через несколько мгновений он что-то нащупал – мой телефон.

– О, труба, – в его глазах забегали мелкие, алчные огоньки.

– Да он же капец какой древний, – прозвучал насмешливый голос из толпы.

– Да плевать, – Пискалявый начал убирать мой телефон себе в куртку.

У меня перехватило дыхание. В ушах зазвенело. Моя единственная ниточка к Алисе, все наши переписки, столько личных сообщений... Я не мог этого допустить. Инстинкт оказался сильнее страха. Я резко дернулся, и мои пальцы впились в холодный пластик телефона с силой утопающего. Пискалявый на мгновение остолебенел от моей наглости, его бледное лицо исказилось маской неподдельного изумления.

– Ты охренел, мразь?! – через секунду он с силой вlepил мне по лицу. Удар был коротким и жестким, моя голова отшатнулась, и я бы рухнул на грязный снег, если бы не железная хватка держащего меня сзади парня. Во рту тут же появился теплый медный привкус крови.

Мишка не растерялся. Он не кричал, не предупреждал. Просто с размаху, молча, всем телом толкнул того, кто держал меня. Парень, не ожидавший такой отчаянной реакции, с хрипом и глухим, мокрым стуком рухнул на землю, ударившись спиной о промерзлую землю.

– Сука! – просипел упавший.

– Ах ты, уродец! – проскрипел Пискалявый.

Он не стал драться голыми руками. Его взгляд, дикий и пустой, метнулся по земле, он наклонился и поднял с земли тяжелый шершавый обломок кирпича, покрытый грязным снегом. И, почти не целясь, с душераздирающим, костным хрустом, всадил его Мишке в висок. Звук был тупой, влажный, окончательный. Мишка не издал ни звука. Его тело обмякло и

тяжело, как мешок с песком, рухнуло на снег, и темная лужа тут же начала растекаться вокруг его головы.

– Не дайте им уйти! – проревел Клим и с разбегу, как слепой таран, набросился на меня.

Мир взорвался. Все вокруг резко превратилось в калейдоскоп из вспышек белой, обжигающей боли и хаотичного мелькания тел. Кто-то снова схватил меня сзади, сдавив так, что хрустнули ребра. Первый удар кулаком пришелся в солнечное сплетение – воздух с силой вырвался из легких, оставив после себя вакуум и судорожные попытки вдохнуть. Второй – в челюсть, с противным щелчком, от которого потемнело в глазах. Третий, четвертый – тупые, тяжелые удары в корпус, в почки, каждый из которых отзывался горячей волной тошноты. Я пытался вырваться, брыкался, но меня держали слишком крепко, а удары сыпались градом, методично перемалывая плоть и кости. Краем затуманенного кровью и болью зрения я видел, как двое, словно гончие псы, набросились на Дворяна. Он отбивался отчаянно, его движения были резкими и точными, но против грубой, звериной силы и численного превосходства любая техника была бесполезна. Его сбили с ног и повалили на землю.

И в этот момент я услышал звук, от которого кровь буквально застыла в жилах. Это был не крик, не ругань, а громкий, пронзительный стон, вырвавшийся из самой глубины груди Дворяна. Он лежал на земле, а они били его ногами – методично, с тупой, размеренной жестокостью, по ребрам, по спине, по незащитной голове. А один из парней, большой, с лицом мясника и маленькими свиными глазками, подошел к нему, держа в руках отрезок грязной ржавой арматуры. Он занес его над головой, целясь в лежащего, незащитного Дворяна.

Я понял. Он убьет его. Сейчас, на моих глазах, он превратит моего друга в окровавленное, бесформенное месиво.

И тогда из самых глубин, из самого нутра, поднялась волна слепого, всесокрушающего отчаяния и ярости. Я рванулся вперед, рывком высвобождаясь из куртки, тем самым сбрасывая с себя того, кто меня держал. В кармане джинсов лежал складной нож деда, который я всегда носил с собой с тех самых пор, как меня ограбили. Я никогда не думал, что воспользуюсь им. Холодный, знакомый кусок металла влился в мою ладонь, обещая ужасное, но единственное решение.

Еще один отчаянный, неистовый бросок вперед. Я не целился. Я просто вложил в это движение всю свою ненависть, весь страх, всю боль. Лезвие практически без звука вошло в тело. В основание шеи.

Арматура с оглушительным лязгом рухнула на асфальт. Парень, державший ее, замер. Он медленно повернулся ко мне. И этот момент навсегда врезался мне в сетчатку. Не крик. Не слово. А булькающий, захлебывающийся звук, идущий из горла. И фонтан. Фонтан теплой, алой, невероятно яркой крови, которая хлынула на мои руки, на куртку, на лицо. Его лицо было искажено не болью, а абсолютным, вселенским недоумением и ужасом. Шок в широко раскрытых, невидящих глазах.

Писклявый, увидев это, издал короткий, перекошенный вопль. Он бросился к своему товарищу, подхватил его под мышки и, что-то невнятно бормоча, потащил куда-то в сторону, в темноту, оставляя за собой широкий кровавый след.

Вдруг откуда-то издали начал доноситься звук сирены. Видимо, кто-то увидел в окно потасовку и вызвал милицию. Остальные, осознав это, мгновенно прекратили драку и кинулись врассыпную.

Все закончилось так же внезапно, как и началось – словно кто-то выключил звук в крошечном аду. Наступила оглушительная, давящая тишина, которую где-то вдали лишь подчеркивал нарастающий, словно из другого измерения, вой сирены.

Игнорируя боль во всем теле и бесконечные позывы к тошноте, я подполз к Дворяну. Он с нечеловеческим усилием смог приподняться и сесть. Его лицо было разбитым, одежда в грязи и крови. Жутко было видеть выражение его глаз – в них не было физической боли. В

них был шок. Глубокий, парализующий, первобытный ужас от осознания того, что только что произошло. Он смотрел сквозь меня, в какую-то пустоту, где снова и снова воспроизводился тот кошмар.

Потом, едва держась на ногах и шатаясь, я поковылял к Мишке. Он лежал неестественно неподвижно, его лицо было белым, как свеча, а из зияющей раны на виске медленно, с ужасающим постоянством, сочилась алая струйка, растекаясь по грязному снегу зловещим, темно-багровым озером. Его грудь едва заметно вздымалась, и каждый вдох давался ему с хриплым, булькающим звуком, словно внутри что-то ломалось и рвалось.

И тут мой взгляд упал на маленький черный предмет, лежащий в луже его крови – мой телефон. Эта ничтожная вещица, из-за которой... Нет, я не мог даже закончить эту мысль до конца.

И наступила та самая, всепоглощающая тишина. Вой сирены я уже не слышал – он доносился будто из-под толстого слоя воды. Я был в вакууме, где существовали только два звука: прерывистый, хрипящий, все более слабеющий звук дыхания Мишки и бешеный, яростный стук моего собственного сердца.

Я рухнул на колени рядом с ним, прижимая свою окровавленную, дико трясущуюся ладонь к его ране, пытаюсь заткнуть ту страшную дыру, из которой вместе с кровью уходила его жизнь. Но она просачивалась сквозь пальцы, горячая и липкая, покрывая мои руки, заливая снег. Кровь была везде. Ее медный, сладковато-тошнотворный запах заполнил собой вселенную, вьелся в ноздри, в легкие, в самое сознание. Ее тепло, жуткое, живое тепло уходящего друга, пропитало мою одежду, кожу, душу.

– Мишаня... Мишаня, ты меня слышишь?! – мой голос сорвался на истеричный, безумный шепот, а потом перешел в рыдания. – Держись, пожалуйста! Не умирай! Не смей умирать, дурень!

Слезы текли по моему лицу ручьями, смешиваясь с кровью на моих щеках, капая на его бледное, безжизненное лицо. Во мне бушевало адское месиво из эмоций: всепоглощающая вина; бессильная ярость к тем, кто это сделал, и к самому себе; леденящий душу страх перед тем, что сейчас произойдет и безутешное, дикое горе, которое разрывало грудь изнутри. Я гладил его волосы, умолял, бормотал бессвязные слова, подозревая, что он уже не слышит, но я был не в силах остановиться и разорвать последние ниточки, связывающие нас.

И вдруг... его дыхание остановилось. Просто оборвалось. Резко и безжалостно окончательно. Хрип, этот ужасный, но такой желанный звук, означавший, что он еще борется, прекратился. Наступила полная, абсолютная, бездонная тишина. Тишина смерти. Она обрушилась на меня с такой физической тяжестью, что я едва не рухнул рядом. В этой тишине не было больше ни друга, ни надежды. Была только ледяная, необратимая пустота. И я остался один на один с ней, на коленях в луже крови с окровавленными руками и разорванным на части сердцем.

Смерть – великий учитель, но ее уроки оплачиваются частью души. Она не забрала меня тогда, чудом прошла мимо, но этого мимолетного касания хватило, чтобы снести начисто все мои юношеские иллюзии о собственном бессмертии. Мир после этого не стал хуже или лучше. Он стал... иным. Более реальным. Более острым. Каждая мелочь, на которую раньше и взгляд не упал бы, теперь имела вес, вкус и значение.

Больница стала для меня не местом лечения, а клеткой. Белые стены, запах антисептика и постоянный присмотр – за дверью дежурил милиционер. Нас с Дворяном разлучили, и эта неизвестность съедала изнутри хуже любой раны. А еще я не знал, жив ли тот парень, и эта мысль висела надо мной тяжелым, отравляющим гнетом. Каждый скрип двери, каждый шаг за окном палаты заставлял вздрагивать – мне чудилось, что это идут за мной.

И они пришли. На третий день в палату вошел незнакомый мужчина в штатском, но с такой выправкой, что военная кость чувствовалась за версту.

– Собирайся, – бросил он коротко, даже не представившись. – Беседа.

Я ехал на заднем сиденье его «уазика», вдыхая бесконечные клубы дыма, даже не представляя, к чему все это ведет.

Он представился только в своем кабинете, где в шкафу и на столе громоздились стопки бесчисленных папок. Следователь Кузнецов. На вид – лет пятьдесят, лицо жесткое, испещренное морщинами, будто вырезанное из старого дуба. Взгляд маленьких, колючих глаз был тяжелым и недобрым. Он смотрел на меня так, будто я был не пострадавшим, а насекомым, которого вот-вот раздавят.

Кабинет был аскетичным: помимо упомянутых стола и шкафа тут еще имелись два стула, сейф и портрет прокурора на стене. Кузнецов уселся напротив, положил перед собой толстую папку и достал пачку сигарет. Вытащил одну, размял, прикурил. Дым был едким и горьким.

– Итак, Марк, – начал он, разглядывая меня сквозь дымовую завесу. – Поздравляю с совершеннолетием. Подарок себе, я смотрю, выбрал ты знатный. – Его голос был ровным, металлическим, без единой эмоции.

Он открыл папку и медленно, с театральной паузой, начал выкладывать фотографии. Черно-белые, крупным планом – лицо того парня, бледное, с остекленевшими глазами.

– Потерпевший, – произнес Кузнецов, тыча пальцем в снимок. – Семенов Роман. Скончался по дороге в больницу. От кровопотери. Проколотое горло, повреждение артерии. Ты хорошо работал.

У меня закружилась голова. Я сглотнул ком в горле.

– Они... они на нас напали. Они избивали моего друга... Он был с арматурой...

– По протоколу осмотра места происшествия, – Кузнецов перебил меня, не повышая голоса, – холодное оружие было обнаружено только у тебя. Складной нож, лезвие 90 мм. Со следами крови, идентичной крови потерпевшего.

– Я защищался! Он бы убил Дворяна!

– «Дворяна», – с презрительной усмешкой повторил следователь. – Ты имеешь в виду Бориса Волкова? К сожалению, гражданин Волков сейчас не в состоянии давать показания. Но он хотя бы жив в отличие от Семенова.

– Потому что я вмешался! – почти крикнул я, чувствуя, как по щекам текут предательские слезы. – Я видел, он был с арматурой!

– Видел, – Кузнецов сделал очередную пометку в блокноте. – А свидетели, которые дают показания, утверждают, что ваша компания сама спровоцировала драку и ты набросился на Семенова без предупреждения – они ничего не видели? Они, выходит, врут?

– Какие еще свидетели?! Все было не так!

– Угу, – он кивнул, и в его глазах читалось полное, абсолютное безразличие к моим словам. – А я вот что думаю. Думаю, парень, который в первый же день своего совершеннолетия пускает в ход нож и лишает жизни человека – это не случайность. Это закономерность. Такие, как ты, – он ткнул в меня пальцем с потухшей сигаретой, – не останавливаются на одном. Рука уже поднята, запрет снят. Сегодня – один, завтра – другой. Я таких знаю. Из вас убийцы получаются. Прирожденные.

Его слова обрушились на меня с тяжестью гирь. Это был не допрос, это был приговор. Он уже все для себя решил.

– Я не убийца, – прошептал я, но мой голос прозвучал жалко и неубедительно.

Кузнецов тут же ткнул в меня фотографией убитого.

– Еще какой убийца.

– Это не правда, – я вздрогнул и тут же отвернулся.

– Это еще посмотрим, – Кузнецов откинулся на спинку стула. – А пока у нас есть труп, есть орудие убийства с твоими отпечатками и есть свидетели. Для начала хватит. Полагаю, суд согласится.

Дверь в кабинет резко открылась, и на пороге появился мой отец. Его лицо было серым от бессонницы и страха.

– Товарищ следователь, я требую отпустить сына! Он пострадавший, он должен быть в больнице!

Кузнецов медленно, нехотя поднял на него взгляд.

– Ваш сын, гражданин, – сказал он ледяным тоном, – проходит по статье 105. Умышленное убийство. О том, чтобы отпустить его и речи быть не может. Процедура требует его содержания здесь до решения суда об избрании меры пресечения.

– Но он же ребенок! – в голосе отца дрогнуло отчаяние.

– Уже нет – совершеннолетний, – отрезал Кузнецов. – Отвечает по всей строгости. Взрослые поступки – взрослая ответственность. Теперь, если не хотите, чтобы к нему добавили и вас за препятствование следствию, покиньте кабинет.

Отец не шелохнулся. Он открыл было рот, чтобы возразить, но тут же двое в форме подхватили его под руки. Он дернулся, но затем его плечи безнадежно опустились. Он посмотрел на меня – взглядом, полным боли, стыда и беспомощности, – и его повели прочь из кабинета.

Эту ночь и две последующие я провел в милицейском участке. В камере временного содержания. Это была не камера, а просто комната с решеткой на окне и голым деревянным топчаном. Я сидел на нем, обхватив голову руками, и слушал, как за стеной кто-то громко храпел, а кто-то плакал. Я думал о Мишке. О Дворяне. О лице того парня в последний миг. О словах следователя: «Из вас убийцы получают».

За решеткой окна медленно светало. Вот они – первые дни моей взрослой жизни. И, глядя на грязный потолок, я впервые по-настоящему понял, что такое одиночество. Холодное, беспросветное и абсолютное.

Зал суда казался мне неестественно огромным и холодным, словно вырубленным из цельной глыбы льда. Я сидел на жесткой скамье подсудимых, зажатый между двумя конвоирами, и чувствовал, как холод металлических наручников впивается в запястья. Они гремели при каждом моем движении, самом незначительном вздохе, напоминая и всем присутствующим, и мне самому, кем я здесь являюсь – преступником. Агрессором. Убийцей. Мне казалось, в этих оковах не было никакой необходимости – куда я мог бежать с этим грузом?

Воздух в зале был спертым и тяжелым, пах старыми бумагами, пылью и человеческим страхом. На меня смотрели десятки глаз: судья с нечитаемым лицом, публика на скамейках, чьи взгляды я боялся встретить, и мой отец с дедом – они сидели в первом ряду, и их бледные, осунувшиеся лица были островком знакомого мира в этом чужом и враждебном пространстве.

Начались показания. Моя классная руководительница, дрожащим голосом, говорила о том, что я тихий, неконфликтный ученик. Учитель физкультуры подтвердил, что драк я избегал. Их слова тонули в гулкой тишине зала, казались такими хрупкими и незначительными перед тяжестью обвинения.

Потом слово взял отец. Он говорил медленно, подбирая слова, и его голос, обычно такой уверенный, срывался. Он рассказывал суду о том, как я помогал деду, как подрабатывал, чтобы скопить на телефон, как мечтал поступить в институт. Он говорил о моей ответственности, и в его словах была такая горькая, отчаянная любовь, что у меня сжалось горло. Дед лишь кивал, сжимая в узловатых пальцах свою старенькую кепку.

Но самого главного свидетеля – Дворяна – в зале не было. Он оставался в больнице. Ходили слухи, что состояние его было тяжелым, не только физически, но и морально. Его показания зачитывал секретарь. Сухие, протокольные фразы, лишённые его привычной иронии: «...подойдя с арматурой... угрожал моей жизни... Марк действовал, чтобы защитить меня...». Эти строки на бумаге были единственным щитом, который кто-то держал передо мной.

Станным и зловещим было отсутствие противоположной стороны. Никого из тех парней, ни их родственников. Никого, кто бы встал и сказал: «Вот он, убийца». Эта пустота была пугающей. Я не понимал, почему их нет. Может, они просто скрывались? Или у них были свои, темные причины не появляться здесь?

И вот настал тот момент, ради которого, казалось, и закрутилась вся эта гигантская, бездушная машина. Судья, женщина в возрасте со строгим лицом и голосом, не терпящим возражений, начала оглашать приговор. Сердце в груди замерло, превратившись в комок льда. Время замедлилось, и каждый звук – шорох бумаги, скрип ее стула, чей-то сдавленный кашель – отдавался в ушах оглушительным грохотом.

«...учитывая отсутствие у подсудимого судимостей, его характеристику... принимая во внимание показания еще одного потерпевшего о том, что действия подсудимого были продиктованы необходимостью защиты его жизни... признать...».

И тогда прозвучали самые невероятные и желанные слова: «...непреднамеренное лишение жизни при превышении пределов необходимой обороны». И следом – «...назначить наказание в виде трех лет лишения свободы условно».

Воздух с шипением вырвался из моих легких. Тело обмякло, и только наручники не дали мне сползти со стула. Условно. Это слово звенело в голове, как колокольчик, затмевая все остальное. Я не поеду в колонию. Я остаюсь на свободе.

В приговоре, как мне потом объяснил адвокат, была прописана обязанность – ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Небольшая плата за то, что моя жизнь не была сломана окончательно.

Когда конвоир снял с меня наручники и я, на слабых ногах, пошел к выходу, мой взгляд случайно встретился с глазами следователя Кузнецова. Он стоял в проходе, неподвижный, как истукан. Его лицо было темной, нахмуренной тучей. В его глазах я прочел не просто недовольство – там была холодная, непримиримая уверенность в своей правоте.

Он смотрел на меня и, казалось, видел не оправданного юношу, а будущего рецидивиста, которому дали шанс, но который его, по мнению Кузнецова, непременно использует во зло. Этот взгляд был тяжелее любых наручников. Он был обещанием того, что для некоторых я навсегда останусь убийцей.

Часть Вторая «Два пути, одна дорога»

Глава 6

Стекло было холодным, это чувствовалось даже сквозь толстую ткань рубашки. Я сидел, поджав колени, на широком подоконнике своей комнаты, вглядываясь сквозь отражение своего истощенного лица в грязный, подтаявший и вновь замерзший снег во дворе. Он напоминал гигантское грязное ватное одеяло, под которым угадывались очертания забытых качелей и ржавых автомобилей. В пальцах тлела сигарета, пепел с которой осыпался на темное дерево подоконника, смешиваясь с вековой пылью в унылую, серую пасту. Я не спал. Кажется, третьи сутки. Веки налились свинцом, но стоило их сомкнуть, как из-под них накатывала волна кошмара наяву: его лицо. Не лицо – маска, искаженная внезапным осознанием конца. И глаза. Пустые, остекленевшие, в которые я смотрел в тот последний миг. И самое ужасное – память кожи. Тот густой, обжигающе-теплый поток, хлынувший из раскрытой раны на его горле, липкий и неумолимый на моих пальцах, ладонях, запястьях. От этого ощущения сходишь с ума.

На тумбочке, словно пойманный в ловушку, снова заскулил телефон – Алиса. Десятый раз за неделю. Я даже не повернул голову. Светящийся экран был обвинением, связью с миром, который продолжал вертеться с какой-то дурацкой, нелепой настойчивостью, словно ничего и не произошло. И в этой тишине, разрываемой лишь назойливой вибрацией, во мне снова поднялось то самое, темное и иррациональное чувство. Я ненавидел этот телефон. По-настоящему, до тошноты. Этот холодный кусок пластика и стекла стал в моем сознании роковым артефактом, тем самым предметом, что запустил маховик смерти.

Если бы я тогда просто отдал его... – эта мысль въедалась в мозг. Если бы не вцепился в него с идиотским упрямством, если бы позволил им забрать его... Мишка бы не бросился на помощь. Он бы остался жив. Разумом я понимал всю чудовищную нелепость этой мысли. Виноват был не телефон. Виноваты были те, кто поднял кирпич. Виноват был я – своей слабостью, своим нежеланием отдать вещь, своей неспособностью защитить друга. Этот кусок пластика был всего лишь вещью, неодушевленным предметом, который ничего не решал и ни о чем не просил. Но логика была бессильна против всепоглощающего чувства вины. Каждый раз, когда я смотрел на телефон, перед глазами вставала та самая сцена: мои пальцы, вцепившиеся в скользкий корпус, и решительный бросок Мишки. Этот предмет стал символом моего рокового выбора, материальным воплощением той секунды, когда все пошло под откос.

И теперь он лежал там, на тумбочке, и его мерцающий экран с именем «Алиса» казался мне не звонком, а обвинительным приговором. Еще одним напоминанием о мире, который требовал от меня участия, эмоций, жизни – всего того, что я был не в силах дать. Всего того, что я, как мне казалось, навсегда похоронил в той темной подворотне вместе с лучшим другом.

Я закрыл глаза, отворачиваясь от назойливого свечения. Пусть звонит. Пусть мир крутится без меня. У меня не осталось для него ни сил, ни слов. Только тяжелое чувство, что я навсегда прикован к тому вечеру цепью, выкованной из собственной вины.

В дверном проеме возникла знакомая широкая тень.

– Может, все-таки ответишь? – голос деда был тихим, но в тишине комнаты он прозвучал как выстрел. Он стоял, скрестив на груди руки, и его молчаливый вопрос висел в воздухе тяжелее любого упрека.

– Нет.

– Она волнуется, Марк. Переживает.

– И что? – мой собственный голос прозвучал отчужденно, плоским, безжизненным тоном, будто доносился из соседней комнаты. Чужой голос.

Дед тяжело вздохнул, прошел в комнату, его шаги были глухими. Он взял с тумбочки молчавший уже телефон и вышел, не глядя на меня. Я прислушался. Из прихожей доносился его приглушенный, старческий голос, полный какой-то непрощенной, стыдливой вины: «Алисочка, прости ты его... Произошло нечто ужасное... Он не может сейчас, понимаешь? Совсем не может... Прости».

Я снова закрыл глаза. Они не понимают. Никто из них не понимает. Они говорят слова «ужасное», «произошло», но за ними нет ни единой крупинки того ужаса, который въелся в меня, в каждый сантиметр кожи, в каждую извилину мозга. Для них победа в суде – это конец. Они думают, что все остальное это что-то внешнее, что-то, что можно пережить, перетерпеть, переболеть. Они не знают, что это теперь – я сам. Я посмотрел на циферблат часов. Время. Нужно было идти в больницу. К Дворяну.

Стерильный запах хлорки и болезней ударил в нос, как всегда. В полутемной палате он лежал на белой койке, и на ее фоне его лицо казалось еще бледнее, почти прозрачным. Повязка на животе громадным белым бугром возвышалась под одеялом.

– Ты выглядишь как настоящее дерьмо, – его голос был слабым, но в нем угадывались привычные нотки иронии.

– Спасибо, – пробормотал я, опускаясь на стул у кровати и уставившись в кафельный пол. Смотреть на друга было невыносимо.

– Я... уезжаю. Родители впали в истерику. Решили, что здесь все напоминает о... ну, ты понял.

Я лишь кивнул, продолжая изучать узор плитки.

– Марк... – он замолчал, и я почувствовал, как он собирается с мыслями. – Ты спас мне жизнь. Понимаешь? Он бы меня прикончил.

– Я убил человека, – выдохнул я, и эти слова повисли в тишине палаты, тяжелые и неоспоримые.

– Он убил бы нас! – в его голосе прорвались злость и отчаяние.

– Это ничего не меняет. И не помогает, – прошептал я, и это была чистая правда. Никакие рациональные доводы не могли смыть ту самую, физическую память.

Дворян не нашел, что ответить. И в этой немой растерянности, в этом молчаливом недоумении на его лице крылась самая страшная мука. Я почему-то полагал, что здесь, рядом с ним, единственным свидетелем, мне станет легче. Что наша боль будет общей. Но я ошибался. Он лежал здесь с переломанными костями, с физической болью, которая пройдет. А я был искалечен внутри, и мой шрам был невидим и не интересовал никого. Он был ранен телом, а я – душой, и между этими состояниями пролегла непроходимая пропасть. Я хотел разделить с ним эту черноту, но он ее не чувствовал, не носил в себе. Мое присутствие лишь тяготило его, напоминало о том, о чем он всеми силами пытался забыть. Я пришел поддержать, а сделал только хуже. Не было тех самых важных слов, которые должны были прозвучать. Была лишь эта непреодолимая стена тишины, выросшая между двумя людьми, пережившими одну трагедию, но оставшимися в ней по разные стороны.

Я больше не приходил в больницу. Мы так и не попрощались перед его отъездом.

Администрация школы пошла на уступки: мое исчезновение с уроков было встречено с подозрительным, вымученным пониманием. Видимо, слухи уже обросли такой плотью, что любое давление могло привести к взрыву. Но их лояльность имела четкое, бюрократическое

условие – визиты к школьному психологу. Формальная отмазка для отчета, чтобы не исключать «травмированного подростка». Я не сопротивлялся. Во мне не осталось ни сил, ни желания хоть как-то противостоять течению, что несло меня по этим бессмысленным коридорам жизни. Сказали ходить – буду ходить. Мне было абсолютно все равно. Я твердо знал, что это бесполезное сидение напротив чужого, озабоченного лица ничего не изменит. Весь мир выцвел, потерял вкус, запах, смысл. Он стал плоским, как газетная фотография, и так же мало меня волновал.

Кабинет № 37 пах старыми бумагами, дешевым кофе и сладковатым ароматом освежителя воздуха, пытавшегося все это перебить. На столе – символы бесполезного усилия: пластмассовый кактус, бессмысленный в своих попытках казаться живым, стопки папок с заглавиями вроде «Адаптация» и «Стрессоустойчивость» и аккуратная деревянная табличка «Шитова А.Д., психолог».

Она встретила меня натянутой дежурной улыбкой, которую учат сохранять на лице при любых обстоятельствах. Лет двадцати пяти, с глазами, в которых еще теплился непотушенный огонек идеализма, не успевший, видимо, выгореть в пепельной практике.

– Марк, привет. Проходи, садись. Расскажи, как ты себя чувствуешь? – ее голос был нарочито мягким, заученно-спокойным.

Я молчал, уставившись в аквариум для рыбок, которых там не было.

– Я понимаю, тебе очень сложно. Но если ты не будешь говорить, я действительно не смогу тебе помочь, – она произнесла это как заклинание, вероятно, вычитанное в учебнике.

– Вы не поможете в любом случае, – сказал я. Без вызова, без злобы. Тихий, ровный голос, звучавший чуждо даже в моих собственных ушах.

– Почему ты так думаешь? – в ее глазах мелькнул неподдельный, живой интерес. Профессиональный азарт.

– Потому что вы даже не представляете, как пахнет кровь, когда ее очень много, – произнес я, и воздух в кабинете мгновенно изменился. Он стал тяжелым. – Не просто капля из порезанного пальца. А когда ее целая лужа. Теплая. Специфический, медный, сладковато-тошнотворный запах. Он въедается в кожу, в одежду, в нос. Он преследует тебя везде. Даже здесь. И вы не знаете каково это, когда твой друг умирает у тебя на руках. А виноват в этом лишь ты и тупая жажда справедливости.

Она замерла. Ее рука, лежавшая на блокноте, непроизвольно сжалась. Цвет лица стал на тон бледнее. Идеальный, книжный мир ее теорий столкнулся с грубой, не приукрашенной правдой моего. Она переводила дыхание, и я видел, как в ее голове лихорадочно перебираются заготовленные фразы, и все они оказываются пустыми и ненужными.

– Ты прав, – наконец выдохнула она, и это был ее первый по-настоящему честный ответ за всю нашу встречу. – Я не представляю. Но я хочу попытаться понять.

Я резко поднял на нее взгляд, впервые с интересом разглядывая ее лицо.

– Вы давно работаете? – спросил я, поймав ее взгляд и не отпуская.

Она смутилась, отвела глаза к своим папкам.

– Я... почему ты спрашиваешь?

– Я недавно в этой школе. Мне просто интересно, с каким опытом вы ко мне пришли.

– Ну, – ее голос дрогнул, потерял профессиональную гладкость. – Практикую я, можно сказать, с последних курсов университета...

– То есть вы недавно получили диплом, – безжалостно резюмировал я, – и я один из ваших первых подопытных кроликов? На котором вы будете оттачивать технику?

Она резко вскочила, как ужаленная. Глаза вспыхнули обидой и гневом. Она хотела что-то крикнуть, отрезать, но ее профессиональное «я» взяло верх над человеческим. Сделав глубокий вдох, она медленно опустилась обратно в кресло, сглотнув ком в горле.

– Прости. Ты снова прав. Опыта у меня мало. Но, пожалуйста, не называй себя так. Я уверена, что смогу помочь. Ты должен мне верить.

– Да, – солгал я, глядя в окно. Я солгал, потому что это был самый короткий путь закончить этот нелепый разговор.

Помочь она не смогла. Я исправно приходил два раза в неделю, отбывая свой часовой, а иногда и полуторачасовой срок в ее уютном, пахнущем кофе каземате. Я не виню ее. Ни капли. Знаний, навыков и, главное, жизненного опыта этой хрупкой девушки катастрофически не хватало для того, чтобы распутать тот клубок тьмы, что поселился во мне. Но она старалась. Искренне, отчаянно, с трогательным и неистовым упорством. Она оставила мне свой личный номер, умоляя звонить в любое время дня и ночи. Иногда ее забота прорывалась звонком на мой бессловесный телефон. Я никогда не отвечал.

Со временем эти встречи сошли на нет. Без скандала, без объяснений. Просто однажды я перестал приходить. И она благодаря своему огромному человеческому и профессиональному пониманию ни слова не сказала о моих демонах ни учителям, ни администрации. Она приняла свое поражение с достоинством, оставив меня наедине с моей войной.

Ночь. Она всегда приходила с ним. Не с темнотой, не с тишиной, а с ним – одним и тем же, выцарапанным на изнанке век кошмаром. Всегда одни и те же декорации: приглушенные звуки, тусклый свет фонаря, безжизненное тело Мишки. И лицо. Лицо того человека – искаженное внезапным пониманием, глаза, в которых сначала недоумение, а потом... потом пустота. И алая, алая лужа, растекающаяся по грязному снегу, такая яркая, что от нее режет глаза даже во сне.

Я просыпался с коротким, захлебывающимся криком, словно выныривая из ледяной воды. Сердце колотилось где-то в горле, а простыня была влажной от пота. Однажды ночью, после очередного витка этой адской карусели, я встал с кровати и подошел к зеркалу в прихожей. Тусклый свет луны падал на мое отражение. Бледная кожа, запавшие глаза, в которых читался немой вопрос. Я всматривался в свои черты, пытаюсь найти в них что-то знакомое, свое, но видел лишь маску. И сквозь нее проступало другое лицо – то самое, из сна.

«Лицо убийцы», – прошептали мои губы, и эхо этого слова повисло в мертвой тишине квартиры. Может, Кузнецов прав насчет меня? Я убил обоих – не только того парня, но и Мишку. Это было невыносимо тяжело. Этот груз давил на плечи, не давая вздохнуть.

Непроизвольно я двинулся к тумбочке. Рука сама нащупала холодную, отполированную временем рукоять старого ножа. Того самого, что я так и не выбросил, когда мне вернули его со склада вещдоков, и сохранил как какую-то реликвию. Сам не осознавая происходящего, я пошел в ванную комнату. В зеркале я не узнал себя, будто бы там был совершенно другой человек, словно мое измученное сознание обрело форму и теперь было по ту сторону отражения. Я опустил взгляд, лезвие ножа прижалось к запястью, к тому месту, где под тонкой кожей отчаянно пульсировала жизнь. Я ждал боли, ждал облегчения, но чувствовал лишь леденящий металл. Пальцы не слушались, не было сил нажать.

Вместо этого, поддавшись внезапному порыву, я с диким криком, в котором смешалась вся ярость, боль и отчаяние, схватил разводной ключ, некстати лежавший на раковине, и со всей силы ударил им по зеркалу. Хрустальный звон. Тысячи осколков, искажающих мое и так искаженное страданием лицо, посыпались на пол. Дед за стеной не проснулся или сделал вид, что не проснулся, а отца снова не было дома. В квартире царила гробовая тишина, нарушаемая лишь моим прерывистым дыханием. Находясь все еще словно в бреду, я поспешил исправить то, что натворил, и попытался убрать осколки голыми руками, не отдавая себе отчета, что делаю. Что-то острое и жгучее тут же впилося в костяшки пальцев. По руке потекла теплая струйка крови.

Механически, почти бездумно, я вернулся в свою комнату, убрал нож обратно в ящик, снял залитый кровью браслет и забросил его туда же, словно пряча улики. Пока я, сжимая зубы, перевязывал окровавленную руку тряпкой, зазвонил телефон.

Алиса. В пять утра? Сердце екнуло. Значит, у нее уже девять. Он звонил несколько раз, настойчиво, неотступно. И в конце концов я сдался, сняв трубку.

– Марк... – ее голос был тихим, прерывистым и очень далеким, но в нем я услышал ту же тревогу, что пожирала меня изнутри.

– Я не могу говорить, – выдавил я хриплым шепотом, сжимая окровавленную тряпку на руке.

– Я знаю, что случилось, – она проговорила это быстро, словно боялась, что я брошу трубку. – Рассказал твой дед... Мне... мне так жаль... Я...

– Ты не знаешь, – перебил я ее, и голос мой прозвучал грубее, чем я хотел. В нем слышался хрип непролитых слез. – Ты ничего не знаешь.

– Тогда расскажи мне, – умоляюще прошептала она. – Пожалуйста, расскажи. Дай мне разделить это с тобой.

– Нет.

– Почему? – в ее голосе послышались слезы.

– Это мой кошмар, и я не позволю ему стать твоим.

Она заплакала. Тихий, безутешный плач, который резал меня острее любого лезвия. Я не выдержал. Рука сама потянулась положить трубку, оборвав эту мучительную связь.

В школе меня уже перестали ждать. Взгляды учителей скользили по мне с безразличием или с наигранным сожалением. Одноклассники обходили стороной, чувствуя исходящую от меня ледяную пустоту. И тогда мои редкие визиты туда закончились. Дед молча оставлял тарелку с едой у двери моей комнаты, иногда задерживаясь у порога, но так и не решаясь постучать.

Отец снова начал пропадать. А когда возвращался, от него пахло дешевым перегаром и чужими запахами. Мы жили под одной крышей, но в параллельных мирах, разделенные общей, невысказанной трагедией.

А я сидел у окна в своей комнате и часами смотрел, как за стеклом тает грязный снег. Капли стекали по стеклу, как слезы. Рука, перевязанная грязной тканью, лежала на колене и не хотела подниматься. Я больше не рисовал. Я не писал писем. Не строил планов. Не мечтал. Я просто существовал, превратившись в пустую оболочку, в тень, которая ждала только одного – когда же это, наконец, закончится.

Майское солнце било в окно, но я не чувствовал его тепла. Я сидел на кровати, глядя на официальное письмо из школы, лежащее на столе.

«В связи с систематическими пропусками занятий и академической неуспеваемостью ученик 11 класса Родионов Марк Александрович не допускается к выпускным экзаменам. Рекомендуются повторное прохождение программы».

Внизу стояла печать и подпись директора.

Я бросил письмо в ящик стола, где оно присоединилось к пачке других нераспечатанных конвертов – вызовов в школу, уведомлений от психолога, писем от одноклассников, которые давно перестали приходить.

– Ну и что ты теперь будешь делать? – дед стоял на пороге, скрестив руки.

Я безучастно пожал плечами.

– Ждать.

– Чего?
– Не знаю.
Дед вздохнул, потер переносицу.
– Алиса опять звонила.
– И что?
– Спрашивала, как ты. Говорила, что переживает.
– Пусть не переживает.
– Она хочет приехать.
Я резко поднял голову.
– Нет.
– Почему?
– Потому что я не хочу, чтобы она видела «это», – Я махнул рукой вокруг, указывая на грязную комнату, немытую посуду на столе, пустые бутылки из-под воды.
– Она все равно приедет, – сказал дед. – Если не сейчас, то позже.
Я не ответил.

Ночь. Мне снова снился сон. Я стоял в том самом месте под фонарем, но вокруг было пусто. Передо мной прямо на снегу стояла тумба с громоздким телевизором. На экране – статичное изображение лица того парня. Его глаза смотрели прямо на меня.

– Ты убил меня, – говорил он.
– Ты убил бы Дворяна, а затем меня, – отвечал я.
– Это не имеет значения.
– Имеет.
– Для кого?
Я проснулся.

Утро. Отец, вопреки привычке, был дома. Он сидел на кухне, пил чай и смотрел в окно.

– Ты что, не на работе? – спросил я.
– Уволился.
– Почему?
– Хочу снова начать свое дело.
Мы молча сидели за столом.
– Я думал, – начал отец, – может, поедем куда-нибудь.
– Куда?
– Не знаю. На рыбалку. Или просто... уехать.
Я посмотрел на него.
– Зачем?
– Чтобы начать все заново.
– Так не бывает. К тому же мне нужно отмечаться в инспекции.
Отец вздохнул.
– Ты прав, не бывает.
Телефон завибрировал. Я посмотрел на экран.
«1 новое сообщение»
Я открыл его.
«Я не знаю, прочитаешь ли ты это. Но я буду ждать. Сколько потребуется».
Я положил телефон обратно на тумбочку.

Лето наступило внезапно. Я вышел во двор, сел на скамейку и закрыл глаза, подставив лицо солнцу. Я все еще не знал, что будет дальше. Но вдруг почувствовал, что хочу узнать. Так я просидел до вечера и затем, когда солнце зашло за горизонт, направился домой и лег спать. Но сон не приходил за мной, а телефон светился в темноте комнаты. Последнее сообщение Алисы висело на экране уже три дня:

«Я остаюсь в Новосибирске. Поступила здесь. Это не Нью-Йорк, но... ты же помнишь наши планы?».

Я лежал на кровати, уставившись в потолок. В голове крутились мысли, которые я месяцами гнал прочь.

«Она сдала экзамены. Поступила. Живет своей жизнью. А ты? Ты даже школу не закончил».

Я взял телефон, начал набирать ответ, потом стер. Снова начал. Снова стер.

В четыре часа ночи я распахнул окно. Ночь была теплой, пахло сиренью и пылью. Где-то вдали лаяла собака.

– Идиот, – прошептал я себе. – Ты мог бы уже закончить школу. Мог бы готовиться к вузу. Мог бы...

Голос сорвался.

– Но нет. Ты сидишь здесь. Считаешь трещины на потолке.

Я сжал кулаки.

– Она двигается вперед. А ты?

Тишина.

– Ты убил человека.

Это прозвучало вслух впервые.

– Ты убил человека и теперь боишься жить.

В горле встал ком.

Утром я все-таки написал:

«Поздравляю. Это хорошо».

Сухо. Без эмоций. Как отчет.

Она ответила сразу:

«Спасибо. А ты?».

Я положил телефон в ящик и больше не смотрел на него.

– Ты совсем запираешься, – сказал дед вечером, ставя передо мной тарелку с яичницей.

– Не о чем говорить.

– Врешь.

Я кольнул вилкой в тарелку.

– Она поступила. В Новосибирск.

– И?

– И ничего.

Дед хмыкнул:

– Когда отец мой вернулся с войны, твоя прабабка ждала его три года. Письма его потерялись, все думали, что он погиб. А она ждала.

– Это другое.

– Почему?

– Потому что я не герой. Я просто...

– Просто что?

Я встал и ушел.

– Чего я боюсь? – шептал я в темноте. – Боишься, что если встретишься, она увидит, какой ты теперь.

Потолок молчал.

– Она ждет того Марка из лагеря. А его больше нет.

Я закрыл глаза.

– Или есть?

На следующий день я достал телефон и написал:

«Я остаюсь на второй год».

Она ответила через минуту:

«Я подожду».

Я не стал отвечать. Но впервые за долгое время что-то дрогнуло внутри.

Что-то очень маленькое. Очень слабое. Но живое.

Вдруг отец обратился ко мне с интересным предложением:

– Ты все лето собрался сопли на кулак наматывать? – спросил он довольно резко.

– Полегче ты с ним, – попытался вмешаться дед.

– Да сколько можно-то уже? Хватит жалеть себя как девчонка. Ты совершеннолетний лоб, оставшийся на второй год. Иди работай, отвлечешься, займешься чем-то полезным или...

Он замолчал, анализируя, смог ли привлечь мое внимание. Смог.

– Или что? – это не звучало угрозой, мне стало интересно. Может, такой грубый толчок мне и требовался. Он был прав, я жалею себя, сколько можно. Но эта боль в груди, как избавиться от нее, как справиться с этой бесконечной апатией?

– Или я оплачу тебе автошколу, получишь права и сможешь неплохо помогать мне с работой. Зарабатывать будешь в три раза больше, чем бегая с подносами, а дел раз плюнуть. Детали будешь со склада привозить раз в пару дней.

Я кивнул. Не знал, смогу ли заставить себя, но был уверен, что приложу для этого все силы.

– Но при одном условии, – отец поднял палец вверх.

– Каком?

– Ты запишешься на групповые занятия по психологической помощи.

– Психологи? – я закатил глаза, – Опять?

Пришлось согласиться.

Кабинет напоминал школьный класс, из которого вынесли парты. По кругу стояли пластиковые стулья, в углу дымился электрический чайник, а на стене висел плакат с надписью: «Травма – не конец, а начало новой главы». Все это напоминало клуб анонимных алкоголиков из американских фильмов. Первые несколько занятий никто меня не трогал, я сидел у окна, скрестив руки, слушал людей, но не принимал никакого участия. Это время казалось мне потерянным. Я даже толком не слышал, кто о чем говорит – мне было все равно. Но в один день очередь добралась и до меня.

– Сегодня мы обсуждаем чувство вины, – сказал психолог, мужчина лет сорока с бородкой и слишком добрыми глазами. – Кто хочет начать?

В комнате повисло молчание.

Пожилой мужчина в костюме первым поднял руку:

– Я... я не смог спасти жену. Пожар.

Женщина лет тридцати, с трясущимися руками:

– Я была за рулем... Ребенок выбежал...

Я стиснул зубы.

– А ты? – психолог посмотрел на меня.

– Вонзил нож человеку в горло, – бросил я.

Все замерли. Никто не смел нарушить тишину.

Не в силах больше сопротивляться этим взглядам я встал и вышел из кабинета.

Двор центра напоминал заброшенный пустырь – унылый, серый, заставленный скамейками с облезшей краской. Я нашел самую укромную, в углу, под чахлым деревом, чьи оголенные ветви тоскливо тянулись к хмурому небу. Достал сигарету и прикурил, глядя на отражение в грязной луже у своих ног. Оно было размытым и искаженным, как и вся моя жизнь сейчас.

– Эй, братан, можно зажигалку? – раздался голос слева.

Я поднял взгляд. Парень, лет восемнадцати, с проколотым ухом и светлой, почти белой челкой, которая падала ему на глаза, так что он постоянно встряхивал головой. Он стоял, засунув руки в карманы потертой джинсовой куртки, и смотрел на меня с нескрываемым любопытством.

Я молча бросил ему зажигалку.

– Влад, – представился он, ловко ловя ее одной рукой и прикуривая свою, не менее помятую, сигарету. Он сделал глубокую затяжку, выпустил дым колечком и продолжил: – Ты ведь это... реально замочил человека ножом?

Я почувствовал, как внутри все сжалось. Но внешне лишь кивнул, стараясь, чтобы лицо оставалось каменным.

– Спасал друга. От смерти. – Я сделал паузу, собираясь с мыслями, слова давались с трудом. – Другого спасти не смог.

– Жест... – прошептал Влад, и в его голосе проскользнуло нечто отдаленно напоминающее уважение. Он оглядел наш унылый двор с его бродящими в одиночестве фигурами. – Компания в группе, конечно, подобралась та еще.

– Ну а ты, – спросил я из вежливости, чувствуя, что разговор неизбежен, – что забыл на этом «празднике жизни»?

– А я... – Влад запнулся, и его бравада на мгновение куда-то испарилась. Он потянулся за очередной затяжкой, будто ища в ней поддержки. – Мы с друзьями... дурачились. Играли в «слабо» возле железной дороги.

Я невольно поднял бровь. Глупость зашкаливала.

– Серьезно? Перед поездом?

– Ну да, – он потушил окурок о подошву ботинка с каким-то ожесточенным щелчком. – Один из нас... не отпрыгнул.

Воздух между нами сгустился. Я сделал паузу, затягиваясь, чувствуя горький дым на языке.

– И что... – я выдохнул сероватое облако, – ты теперь винишь себя?

– Нет, – ответил он слишком быстро и резко.

Между нами повисла тягучая, неловкая тишина, наполненная невысказанным.

– Врешь, – тихо, но отчетливо сказал я. – Винишь. Себя.

Он вздрогнул, словно от удара.

– С чего ты взял?

– По глазам вижу, – я пожал плечами. – Ты винишь себя, хотя сам не понимаешь, почему. Просто гложет изнутри.

– А ты типа экстрасенс? – попытался он пошутить, но шутка вышла плоской и горькой.

– Твоя идея изначально была, да? – спросил я его, глядя прямо на него. Мне не нужно было слышать ответ – я все понял по тому, как дрогнули его губы и как он отвел взгляд. Я угадал. Мы были такими разными, но наша боль была общей.

Снова тишина. Мы молча стояли, докуривая свои сигареты, каждый в своих мрачных мыслях. Влад первым нарушил молчание, сменив тему с поразительной резкостью.

– А ты рисуешь? – вдруг спросил он.

Вопрос был настолько неожиданным, что я на секунду опешил.

– Раньше. Как ты понял?

– Заметил, – он хитро ухмыльнулся. – Ты постоянно в тетрадке каракули выводишь. Но даже твои каракули... они сбалансированные. Симметричные. Чувствуется рука.

– Ты за мной следил? – спросил я, и в моем голосе невольно прозвучала легкая грубость, отголосок новой подозрительности.

– Не то чтобы следил, – Влад чуть дернул плечом, изображая невинность. – Просто вокруг одни пенсионеры, скучно...

– Тут большинству по тридцать-сорок, – подметил я.

– Не важно! Молодые-то здесь в основном мы двое, – он снова озорно ухмыльнулся. – Тебе сколько, кстати?

– Восемнадцать. А тебе?

– О, отлично! Мне тоже. Значит, ровесники. Школу только закончил?

Я резко швырнул окурок в лужу. Он с шипением утонул в мутной воде.

– Что-то не довелось, – буркнул я. – Давай не об этом.

– Эм, понял, – Влад поднял руки в шутливом жесте сдачи. – Договор.

– Какой-то ты слишком позитивный, – вдруг заметил я, впервые обратив на это внимание. Для места, где собирались травмированные, закопанные в себе люди, он был неестественно ярким и открытым.

– Мой психиатр, – ответил Влад, – говорит, что я сублимирую чувство утраты и вины через гипертрофированно яркое выражение чувств. Компенсирую.

Я посмотрел на него с удивлением.

– Короче, ты ведешь себя, как веселый дебил, чтобы тебе было чуть менее паршиво?

– Получается, что так, – он грустно улыбнулся, и в этой улыбке впервые появилась искренняя разбитость.

– Ты тоже рисуешь? – спросил я, решая вернуться к единственной нормальной теме нашего разговора.

– Да! – его лицо снова озарилось. – А ты как догадался?

– Ну, судя по твоему виду, – я окинул его пестрый прикид, рваные джинсы и майку с принтом черепа оценивающим взглядом, – ты либо репер неудавшийся, либо уличный художник. Но ты спросил меня про рисование, а не о том, что я пою в душе. Так что вот.

– Ну да, я тоже рисую, балуюсь, – Влад с оживлением достал из кармана потрепанный блокнот в кожаном переплете. На страницах, заляпанных чернилами, были сложные, переплетающиеся узоры, мифические драконы, стилизованные черепа с поразительной детализацией. – Работаю в тату-салоне, подмастерьем пока.

Я взял блокнот и медленно перелистал несколько страниц. Работы были по-настоящему талантливыми, в них чувствовалась и школа, и своя харизма.

– Неплохо, – признал я, возвращая ему блокнот. Похвала далась мне с трудом.

– Слушай, а может, зайдешь как-нибудь? В салон? – Влад с надеждой посмотрел на меня.

– У нас там PlayStation есть, можно расслабиться. Кофе нормальный варю.

Я коротко хмыкнул, и в горле снова встал знакомый ком.

– У меня друг был. Тоже в PlayStation играли.

– Ну, – Влад ухмыльнулся, и в его взгляде появился какой-то огонек, – теперь есть я.

– А ты настойчивый, – я покачал головой, но углы моих губ сами собой дрогнули в подобии улыбки. – Посмотрим. Как-нибудь.

– Сегодня, – объявил психолог, и его слова повисли в напряженной тишине, – мы попробуем визуализировать. Не будем говорить о страхах. Мы попробуем их нарисовать.

Я взял листок. Карандаш в моей руке казался невероятно тяжелым. Я закрыл глаза на секунду, и передо мной снова вспыхнули огни, послышались крики, запахло дымом и железом. Я начал выводить контуры – угловатые, резкие, рвущие бумагу. Фонарь, падающий снег, лужи крови... обломок кирпича.

– Офигенно, – прошептал Влад прямо у моего уха.

С нашего знакомства прошла пара недель, теперь мы сидели рядом.

– Жутко, конечно, до мурашек, – продолжил он, не отрывая глаз от моего рисунка. – Но мощно. Честно. Чувствуется, что ты это прожил. А не просто придумал.

Я молча кивнул, с трудом переводя дыхание. Мой взгляд упал на его лист.

– А твой где?

Влад неохотно повернул свой рисунок. На нем был изображен поезд, мчащийся в темноте. Три фигуры на перроне. И одна из них – падающая.

– Можно я тебе тату сделаю? – неожиданно выпалил он, отводя глаза. – С твоего рисунка. Только, ну... чуть попроще, а то я до такого уровня еще не дорос.

Я замер, не понимая.

– Ты серьезно?

– Ага. Бесплатно, естественно. Мне нужна практика, а ты... – он запнулся, ища слова, – у тебя крутой эскиз.

Снова побыть подопытным кроликом? Почему бы и нет. В этом был свой болезненный смысл.

Его «салон» располагался в полуподвале с потрескавшейся вывеской «Tattoo-Magic». Внутри пахло жженой кофейной гущей, сладковатым антисептиком и краской. Жужжала вытяжка, пытаюсь справиться с запахом. Стены были оклеены фотографиями работ и постером какой-то неизвестной метал-группы.

– Не бойся, я уже год учусь у хозяина, – Влад деловито надел черные перчатки, которые противно закрипели. Его шутливость куда-то испарилась, осталась лишь сосредоточенная серьезность.

Я лег на старую кожаную кушетку, холодная виниловая обивка заставила вздрогнуть. Влад протер нужный участок на моей спине спиртовой салфеткой. Раздалось жужжание машинки, и я почувствовал, как ледяная игла касается кожи, а затем – острое, жгучее, монотонное жжение.

– Я знаю, что это моя идея, – вдруг громко сказал Влад, перекрывая гул машинки. – Но скажи... почему ты так быстро согласился? Зачем тебе это на себе вечно носить?

Я стиснул зубы, глядя в ножку кушетки.

– Чтобы помнить.

– А не чтобы забыть? – не отступал он. – Многие так делают. Закатывают в кожу то, от чего хотят избавиться.

Очередная порция боли прошла по нервам огненной волной.

– Я не хочу забывать, – сквозь зубы прошипел я. – Я хочу принять. Чтобы это стало частью меня. А от себя, Влад, не сбежишь. Как ни старайся.

Он ничего не ответил. Только жужжание машинки стало чуть тише, а движения – более точными и выверенными.

Прошло часа полтора. Боль стала чем-то привычным, почти медитативным.

– Готово, – наконец выключил машинку Влад. Его голос был хриплым от напряжения. Он аккуратно вытер мою спину влажной салфеткой. – Теперь это часть тебя. В прямом смысле.

Я медленно поднялся, чувствуя, как ноет спина. Он подвел меня к большому зеркалу в раме из крашеного черного дерева и повернул меня спиной.

На своей левой лопатке я увидел ее. Черно-белый призрачный силуэт кирпичного обломка с каплями крови. Это было не уродливо. Это было красиво своей трагичной, строгой правдой.

Я стоял и смотрел. И чувствовал, как вместе с болью, которую я только что пережил, приходит странное, почти необъяснимое облегчение. Это больше не было картинкой в голове, которую я боялся увидеть. Это стало частью моего тела. Моей историей, высеченной на коже. И в этом был первый шаг к тому, чтобы с этим жить.

Глава 7

Учебная площадка. Раннее утро, пахло бензином и мокрым асфальтом. Я сжимал руль «семерки», чувствуя, как мотор дрожит под капотом.

– Газуешь, как бабка на «жигулях», – хрипел инструктор, вытирая ладонью лысину. – Давай резче!

Я вдавил педаль. Машина рванула вперед, подбрасывая на кочках. В зеркале заднего вида мелькали фишки – я прошел «змейку» идеально.

– Ну наконец-то, – инструктор хлопнул меня по плечу. – Завтра в город выезжаем.

Я кивнул, но внутри не было радости.

Учеба шла хорошо и быстро. Вождение помогло мне снова научиться концентрироваться на чем-то, заставила к чему-то стремиться. Не иметь цели в таком состоянии это самое страшное. В тот момент моя жизнь строилась лишь на вождении и терапии, терапии и вождении.

Дождливый четверг. Комната пахла мокрыми куртками и дешевым кофе. Влад сидел, развалившись на стуле, рисуя что-то в блокноте.

– Сегодня говорим о чувстве брошенности, – психолог разлил чай по стаканчикам.

Женщина с трясущимися руками начала первой:

– Мой муж ушел, когда узнал про мои приступы...

Я смотрел в окно. Дождь стучал по стеклу.

– А меня девушка игнорирует, – вдруг сказал Влад, не отрываясь от рисунка. – Пишет, что на практике в собачьем приюте. Но я-то знаю – она просто боится.

– Чего? – спросил я, не дав открыть рта психологу.

– Что я сломаюсь. Как ее отец-алкаш.

Психолог поднял бровь:

– Марк, а ты чувствуешь себя брошенным?

Комната замерла.

– Я сам всех оттолкнул, – я сжал кулаки. – Но когда они наконец отпустили... стало хуже.

Я замер, устремив взгляд в пол.

Стоя на улице, я вдруг понял, что больше туда не вернусь. Терапия дала мне больше, чем я ожидал – друга. Большого она мне была дать неспособна. Я бросил бычок в урну и поплелся домой.

Стеклянная дверь тату-салона с легким звоном отворилась, впуская вместе со мной вечерний городской холод. Влад, склонившись над своим рабочим столом, тщательно протирал тату-машинку ватным диском, смоченным в спирте. При моем появлении он лишь на секунду поднял взгляд, и в его глазах мелькнуло что-то вроде понимания.

– Есть пиво? – выдохнул я, снимая куртку и бросая ее на потрепанный диванчик. Голос мой прозвучал хрипло и обессилено.

Влад усмехнулся, коротко и беззвучно.

– Пиво – для легких жизненных перипетий. А для серьезных вопросов, – он поставил на стол бутылку водки, – у меня только «Столичная». Для дезинфекции, понимаешь ли. И ран, и мыслей. Пойдет?

Не дожидаясь ответа, он нагнулся и достал из-под стола две нехитрые стопки – обычные стеклянные банки из-под краски, тщательно вымытые.

– Пей как мужчина, – снова ухмыльнулся он, разливая прозрачную жидкость по тарам.

Ледяная влага обожгла горло, заставив меня сморщиться и сглотнуть ком воздуха. По телу разлилось приятное тепло.

– Почему твоя, как ее там... – я провел рукой по лицу, пытаюсь вспомнить имя, которое он упоминал мельком.

– Полина, – без обиды подсказал Влад.

– Да, Полина. Почему она тебя теперь избегает? Ты же вроде... не самый плохой вариант.

– А потому, браток, что я теперь официально «псих», – Влад ткнул указательным пальцем себе в висок, и в его улыбке не было веселья, лишь горькая ирония. – А ей, видишь ли, подавай «стабильного». С ровной биографией и без походов к «мозгоправам».

Он достал из кармана потертый смартфон, пролистал галерею и показал мне фото. Девушка с длинными светлыми косичками и открытым, добрым лицом, смеясь, обнимала огромную немецкую овчарку. На ней была просторная толстовка с логотипом ветеринарного колледжа. Картинка идеальной, нормальной жизни.

Я хмыкнул, чувствуя, как в груди шевельнулось что-то знакомое и болезненное.

– А моя... – я достал свой телефон, старую звонилку с потрескавшимся экраном, и открыл переписку с Алисой.

Последнее сообщение в нитке диалога, отправленное три дня назад, было кратким и исчерпывающим: «Извини, я в ICQ почти всегда. СМС неудобно».

Влад, заглянув через плечо, свистнул сквозь зубы.

– Ох, классика жанра. Прямо по учебнику. Значит, брат, ты ей больше не интересен. И точка.

– Или она просто права? – я откинулся на спинку кресла, и старый кожаный противно затрещал. – Я застрял. В каком-то своем болоте. А она... она движется вперед. Учится, общается в своих современных чатах. Тем более мы... мы никогда не обсуждали, кто мы друг для друга. Это было как будто само собой разумеющимся. Но, возможно, лишь для меня одного.

– Бред, – отрезал Влад, снова отхлебывая своей «Столичной». Его голос прозвучал с неожиданной твердостью. – Если человек тебе дорог – ты находишь способ. И не важно, СМС это, или ICQ, или, блин, почта «mail.ru». Голубиная почта в конце концов, если надо! Понимаешь? Все эти отмазки – просто пыль в глаза. Чтобы красиво уйти.

Он вдруг наклонился ко мне ближе.

– Ты же набил это, – он ткнул пальцем в мою спину, указывая на татуировку сквозь ткань футболки, – не для того, чтобы забыть. А чтобы помнить. И идти дальше. Не тащить этот груз на себе, а оставить его здесь, на коже, как часть истории. Смотри на нее и двигайся вперед. С людьми – то же самое.

Покинув групповую терапию, я должен был занять чем-то свое время. Я устроился неофициально работать грузчиком при магазине. В моей голове это было не так сложно.

4:30 утра. Разгрузка фуры.

Фонарь над воротами склада мерцал, привлекая тучи мошкар. Я стоял в темноте, кутаясь в потертую куртку, и ждал, когда водитель откроет задний борт.

– Погнали, пацаны! – крикнул бригадир, швыряя окурок в лужу.

Фура звякнула, и оттуда хлынул запах – картон, пластик, что-то сладкое и уже подпорченное. Первая коробка ударила по плечам – тяжелая, с надписью «Сахар-песок».

– Давай, студент, не задерживай! – хрипел напарник, мужик лет пятидесяти с перекошенным позвоночником.

Я вскинул коробку на плечо. Спина тут же заныла – третий день, а тело все еще не привыкло.

6:00. Перекур.

Мы сидели на ящиках из-под водки, курили «Приму» и пили чай из жестяной кружки.

– Ты чего на эту хрень подписался? – напарник Валера ковырял грязным ногтем этикетку.

– Платят тут три копейки.

– Надо, – коротко ответил я.

– На права, говоришь, сдаешь? – он не отступал в желании завести беседу.

– Да. – У меня же не было ни сил, ни потребности в этом общении.

Валера хмыкнул:

– А потом что? Таксистом?

Я не ответил. Я смотрел, как первые лучи солнца бьют в грязные окна склада. «Таксистом? – подумал я, – Да ни за что в жизни».

Как-то в среду, когда наши с Владом выходные наконец-то совпали, он вломился ко мне с криком: «Поехали!» Его болотно-зеленая «десятка», больше похожая на передвижной хлам, чем на автомобиль, тряслась на проселочной дороге, подбрасывая нас на кочках, словно нехотя выполняя свои обязанности. Из заляпанных динамиков орал Джеймс Хэтфилд, а Влад в открытое окно кричал что-то невнятное про «настоящую свободу».

– Вот, держись! – внезапно крикнул он и резко вывернул руль, направив машину в, казалось бы, непроходимые кусты. Ветки со скрежетом бились о стекла.

И вдруг – оно открылось. Озеро лежало перед нами, затаившееся в кольце леса.

– Красота, да? – Влад, сияя, расстелил на примятой траве затасканное покрывало и начал выгружать из рюкзака завернутые в фольгу бутерброды. – Мы с Полиной раньше сюда частенько мотались. До всего этого...

– А насколько... у вас все было серьезно? – осторожно спросил я, заметив, как тень пробежала по его лицу.

– Честно?

– Да уж.

– Хотел, – он сплюнул в сторону, – да что уж там. И сейчас, если честно, хочу на ней жениться.

Я прищурился, пытаюсь разглядеть, не шутит ли он.

– Ты серьезно? Жениться?

– Ага.

– В восемнадцать-то? – не удержался я.

– А что? – Влад откусил огромный кусок бутерброда. – Я уже сейчас могу ее содержать. Татухи – дело прибыльное, клиентура растет.

Он достал телефон, пролистал галерею и показал мне фотографию: Полина в белом ветеринарном халате, нежно прижимающая к груди крошечного, жалобно пищущего щенка.

– Она хочет свою клинику открыть. Для животных. А я ей помогу. И все. Делов-то!

Я молча кивнул, глядя на воду. В его словах была такая простая, непоколебимая уверенность, которой мне так не хватало.

– А ты? – Влад ткнул меня локтем в бок, заставив вздрогнуть. – О чем мечтаешь-то, художник?

Ветер шевелил сухие метелки камыша, и где-то над водой одиноко и пронзительно кричала чайка.

– Я... – я запнулся, подбирая слова. – Я хочу снова научиться мечтать.

Влад перестал жевать, его брови поползли вверх.

– Это как? – искренне не понял он. – Это типа навык такой? Включил и мечтаешь?

– Не знаю. Просто... после всего, что было... кажется, будто все мечты – это такие наивные сказки. Потому что им все равно не суждено сбыться.

Влад помолчал, размышляя, а потом швырнул остаток хлеба в сторону пары уток.

– Ну и хрень, – заключил он. – Несбывшиеся мечты – они как татухи. Сначала адски больно, когда жизнь их набивает. Потом привыкаешь. А смотришь – а она, зараза, уже часть тебя стала. И даже красиво смотрится в своем роде.

– Сука, – я невольно хмыкнул. – Ну у тебя и метафоры, браток.

Мы проторчали там до самого вечера. Иногда говорили о пустяках, иногда просто молчали, слушая, как озеро поет свою тихую вековую песню. Несмотря на теплую, почти летнюю погоду, в воду никто так и не полез – будто боялись нарушить хрупкое спокойствие этого места. Как только солнце, пылая багрянцем, опустилось за гребень холма, мы молча собрали вещи и выдвинулись обратно.

Машина неслась по темной безлюдной дороге и резала дальним светом ночную тьму. Влад снова орал какую-то песню.

– Слушай, а давай завтра в кино! – вдруг радостно крикнул он, оборачиваясь ко мне. – Там новый ужастик крутой! В нем тип с ножом, кровяща...

Он не договорил, заметил, как я весь напрягся. Слова застряли у него в горле. Он резко сбавил скорость, и в салоне воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь гулом мотора. Он долго молчал, смотря на дорогу, не в силах подобрать нужные слова.

– Понял, – наконец глухо проговорил он. – Ладно... Не в кино. Тогда просто ко мне. У меня новые краски импортные пришли. Блестят, зараза. Праздновать, в общем-то, и нечего больше.

Я просто кивнул, глядя в темное окно. И вдруг вздрогнул, словно от удара током. В этом году я не поздравил Алису с днем рождения. Совсем. Я взял в руки телефон, пальцы сами нашли ее номер в списке контактов... и так и зависли над экраном, не в силах вывести ни одного слова. Просто смотрел на ее имя, пока оно не начало расплываться перед глазами. Я так ничего и не написал.

Половина одиннадцатого ночи. Проселочная дорога. «Десятка» Влада подпрыгивала на ухабах, фарами выхватывая из темноты стволы берез. Из открытых окон несло хриплое:

«А он тебя целует, говорит, что любит...».

– Ты хоть представляешь, куда мы едем? – я держался за ручку двери, чувствуя, как меня бросает на поворотах.

– На праздник жизни, чувак! – Влад стучал по рулю в такт музыке. Впереди сквозь деревья замерцали огни.

Наконец мы доехали. Лес расступился, открыв ад. Перед нами предстала огромная поляна.

Десятки машин, сгрудившихся вокруг костра, в котором горели покрышки. Из древних, заклеенных синей изолентой колонок орала музыка. Людей здесь было полно и очень разных – в косухах, рваных джинсах, с крашеными волосами, с пирсингом и татуировками, все они кричали, обнимались, дрались.

– Красота, да? – Влад хлопнул меня по плечу.

Я молчал.

Это напоминало лагерь. Тот самый, где я познакомился с Алисой. Но будто пропущенный через мясорубку – вместо чипсов у костра кто-то жевал подозрительные таблетки, вместо смеха – истеричные крики.

– Давай заценим! – Влад потянул меня к столу, где стояли бутылки с самопальным самогоном.

Почему я тогда сразу не развернулся и не уехал, одному богу известно. Меня вытащили туда под предлогом отпраздновать сдачу экзамена по вождению. К середине августа я получил права.

– За права! – мы чокнулись с Владом.

Жидкость обожгла горло. Я закашлялся – пахло ацетоном и смертью.

– Ну как? – засмеялся Влад.

– Отравой пахнет.

– Зато дешево и сердито!

Я выпил еще. Потом еще.

Где-то за полночь мир поплыл. Костер раздвоился. Кто-то сунул мне сигарету, я затаился – вкус горький, с привкусом травы.

– Это что? – прошептал я.

– Жизнь, бро! – засмеялся незнакомец.

Я засмеялся в ответ.

Сколько это длилось, сказать трудно. Мир плясал вокруг меня, а я плясал вокруг всего мира. В итоге каким-то образом я оказался в чьей-то незнакомой мне машине и сидел, заворочено разглядывая панель приборов. Но из этого забытья меня выдернул внезапный, разорвавший ночь крик:

– Помогите! Кто-нибудь!

Сначала я подумал – глючит, допился до чертиков. Откинулся в кресле, закрыл глаза. Но крик повторился – уже нечеловеческий, пронзительный, полный настоящего ужаса.

Я открыл глаза. У дальних машин толпа сбилась в тесное, нездоровое кольцо. Оттуда доносился приглушенный гул голосов.

– Кого-то приколбасило там! – просипел кто-то прямо рядом с открытым окном, и, казалось, по его спине пробежала нервная дрожь.

Я выбрался из машины, шатаюсь от усталости, выпивки и этого внезапного адреналина, что ударил в голову. Ноги были ватными. Я побрел туда, раздвигая любопытных.

Она лежала на пыльной обочине, неестественно выгнувшись. Вся в грязи и пыли. Глаза закатились так, что были видны только белки, из уголка рта текла струйка пены, окрашивая землю в темный цвет. Возле нее валялся пустой целлофановый пакет.

– Да отойди, чувак, сама очухается! – засмеялся какой-то кожаный парень с пустыми глазами, делая глоток из горлышка. – Приход у дуры.

Я рухнул на колени рядом с ней. И в этот момент сердце мое провалилось куда-то в пятки, а в ушах зазвенела абсолютная тишина. Я узнал ее. Эти выцветшие синие пряди, выбивающиеся из-под капюшона. Эти рваные колготки. Это худое лицо, искаженное сейчас гримасой боли.

Мне стало до тошноты, до оцепенения страшно.

– Кристина? – хрипло выдохнул я, касаясь ее плеча.

Она не отвечала. Ее тело выгибалось в немой судороге, мелко, страшно дергаясь.

– Открой машину! Быстро! – заорал я оказавшемуся рядом Владу, подхватывая ее на руки. Она была невероятно легкой, как пустой каркас из костей и кожи.

– Ты что, совсем охренел?! – он схватил меня за плечо, его лицо перекошилось от паники. – Смотри на нее! Я же в хлам! Меня остановят – и мне хана! Мне по рогам дадут так, что я пять лет пешком ходить буду!

– Я поведу! – рявкнул я, уже запихивая Кристину на заднее сиденье.

– Тебя остановят – и пиши пропало твоим правам новеньким! – не унимался он, пытаюсь перекрыть мне дверь. – И мне тоже хана за то, что доверил руль пьяному! Это же статья!

Я развернулся к нему. В глазах у меня стояла белая пелена ярости и отчаяния. Я посмотрел на него так, что он отшатнулся.

– Открывай. Сейчас же. Я поеду один. Если что – заявишь, что я угнал. Я подтверждаю.

«Десятка» рванула с места, с визгом шин, вырывающим у ночи кусок тишины, и вылетела на пустую трассу. Я вдавил педаль газа в пол, до упора, чувствуя, как двигатель взывает от ярости, а стрелка тахометра судорожно поползла в красную зону. Сначала все было четко: разметка, отбойники, темный силуэт леса. Но с каждой секундой, с каждым новым скачком скорости реальность начала расплываться.

Дорога перед лобовым стеклом теряла форму. Темное полотно асфальта размывалось в сплошную, жидкую черную ленту, будто асфальтировали ад, и мы мчались по его свежепроложенному дну. Обочины, трава, придорожные кусты – все слилось в сплошное серое месиво, мелькающее по краям зрения сбоку, как в плохом телевизоре. Рулить в таком состоянии было пыткой. Я ехал не благодаря умению, а полагаясь исключительно на интуицию. Мозг отказывался обрабатывать визуальную кашу, и я ловил равновесие телом, вжимаясь в сиденье, пытаюсь угадать траекторию очередного плавного поворота, который в таком состоянии казался крутым виражом.

И тут, на размытом фоне этого серо-черного месива, где-то слева, мелькнули знакомые огни. Сначала просто свет, но мозг, заторможенный алкоголем, с опозданием в долю секунды выдал распознавание: патрульная машина ГИБДД. Она стояла в кармане, почти невидимая. Ледяная игла страха вошла в грудь, но жать на тормоза уже было поздно. Мы пронеслись мимо, как призраки, как порыв шального ветра. Сердце не екнуло – оно на мгновение остановилось, замерло куском льда, а потом рванулось в бешеной пляске, колотя по ребрам, вышибая воздух. Я, не дыша, впился в зеркало заднего вида, ожидая увидеть в нем вспыхнувшие красные и синие маячки погони.

Но их не было. Только удаляющиеся, тающие в ночи огни габаритов. Пронесло. Слово отозвалось в голове не облегчением, а новой волной тошноты.

И тут же сзади на сиденье Кристина заматалась в бреду. Ее голос, хриплый шепот, пропитанный таким ужасом, что от него стыла кровь, врезался в тишину салона острее любого визга шин:

– Я не хотела... это не я... мам, прости... все не так было...

Каждое ее слово било по затылку, липкой ладонью сжимая горло. Оно было реальнее размытой дороги, реальнее страха перед погоней.

– Держись, сука, – бормотал я сквозь стиснутые зубы, вцепившись в руль так, что, казалось, костяшки пальцев вот-вот треснут. Голос срывался, губы были сухими и не слушались. – Держись, сука. Не смей. Сдаваться.

Я говорил это ей, но в первую очередь – самому себе. Потому что единственное, что было четким в этом смазанном мире, – это хриплый шепот за спиной и всепоглощающая тяжесть руля, которую выносить было все труднее.

Мы добрались до больницы, когда на востоке небо уже начинало светлеть, окрашиваясь в грязно-сиреневые тона. Я выскочил из машины, распахнул заднюю дверь и на руках, не чувствуя тяжести, понес Кристину к стеклянным дверям приемного покоя.

– Передоз! – закричал я, врываясь в ярко освещенную, пахнущую хлоркой тишину. – Помогите!

К нам бросились медсестры, подкатили каталку. Одна из них, строгая женщина в возрасте, уставилась на меня:

– Кто вы ей? Родственник?

– Одноклассник... – выдохнул я, чувствуя, как подкашиваются ноги. – Бывший.

– Как ее зовут? Фамилия!

– Кристина. Белова Кристина.

Ее увезли вглубь отделения, двери распахнулись и захлопнулись. Я остался один в холодном коридоре, опустился на пластиковую скамью и затрясся, как в лихорадке. В кармане жужжал телефон – Влад. Я не стал брать. Просто сидел и смотрел в белую стену.

Спустя некоторое время меня разбудил легкий толчок в бок. Надо мной стоял человек в белом халате.

– Твоя? Белова?

Я кивнул, не в силах вымолвить и слова.

– Жить будет. Откачали. Везучая.

Я закрыл лицо руками и просидел так несколько минут, пока волна дикого, всеохватывающего облегчения не отступила. Потом поднялся и зашел в палату.

Кристина спала. Бледная, почти прозрачная, с синяками под глазами. К ее руке была приклеена трубка капельницы. Дышала она ровно, но очень тихо.

– Идиотка... – прошептал я, садясь на стул рядом. – Совсем идиотка.

Она, конечно, не ответила.

Утро уже полностью вступило в свои права, когда я вышел из больницы. Серая заря стелилась по мокрому асфальту. Я достал телефон, набрал СМС Владу с примерным описанием, где бросил машину, и побрел домой. Ноги были ватными, в голове – пустота и оглушительная усталость.

Дверь квартиры захлопнулась за мной с глухим стуком. Я стоял в прихожей, чувствуя, как пот стекает со лба, глаза щипало. Когда я вернулся домой, в одной комнате горел свет. И тому виной было не мое отсутствие – что дед, что отец привыкли, что я мог пропадать и на ночь, и на сутки. Нет, дело было в другом. Я толкнул дверь без стука. Отец сидел на кровати, что-то быстро засовывая под подушку.

– Что это? – мой голос звучал хрипло.

– Ты чего без стука? – вздрогнул он, – И чем от тебя так несет? Марк, наркотики, серьезно?

– Что там у тебя? – по его лицу я понял, что там что-то очень важное.

– Ты на мой вопрос ответь сначала, – он казался злым.

– Что это? – повторил я.

– Не твое дело.

– Покажи.

Отец стиснул зубы, но я уже шагнул вперед, выхватывая из-под подушки пачку писем.

Конверты. Десятки конвертов. Все с одним почерком.

– Это... мама?

Отец не ответил.

Я вскрыл верхнее письмо.

«Дорогой Саша, прости меня. Как Марк? Мне так жаль...».

Следующее:

«Почему ты не отвечаешь? Я знаю, что не имею права просить, но хотя бы скажи, жив ли он...».

Я поднял глаза на отца.

– Ты... ты все это время...

– Пойми, Марк, – голос отца был ледяным. – Она не заслуживает ответа.

– А Я ЗАСЛУЖИЛ ЭТО?! – Я швырнул письма в отца. – Ты знал, что я думал, что она нас бросила и забыла! Что я винил себя!

– Она и бросила!

– Но она пыталась вернуться!

Удар пришелся неожиданно. Кулак отца врезал в челюсть, отправляя меня на пол. Голова ударилась об угол тумбочки – в глазах вспыхнули звезды.

– Нет! Нихрена она не пыталась! Не говори о том, чего не знаешь!

Я с трудом встал, быстро схватил письмо с пола и вышел. Дверь снова хлопнула, я бежал, не чувствуя боли. А перед глазами снова и снова мелькали строки матери: «...простите меня. Мне жаль».

Я вернулся к машине Влада. Мир вокруг меня менялся слишком быстро, гораздо быстрее, чем успевал меняться я. Лежа на заднем сиденье машины, я разглядывал конверт. На нем был обратный адрес.

– К чертям все, – прошептал я и разорвал письмо.

Но не выбросил.

Хлопок по стеклу разорвал сон. Я резко поднял голову, потревожив рану, голова взорвалась – лег обратно.

– Какого ляда ты все еще здесь? – кричала Кристина, – Ждешь благодарности?

Я потер глаза, потянулся. Все болело. Под аккомпанемент неприятных криков я открыл дверь и сел, опустив ноги на землю. Лучи солнца ударили мне прямо в глаза. Голова гудела.

– Может тебя прямо тут ублажить, чтоб ты отвалил наконец? Будем квиты?

– Сама отвали, – отмахнулся я, – Иди куда шла, пожалуйста. Я от тебя вообще ничего не жду.

Мой ответ тут же поставил ее в тупик.

– Ты не меня ждешь? – она с трудом скрывала разочарование в голосе. Вдруг она заметила кровь, – Это...?

– Нет, тебя я не жду, и нет, это не кровь с вечеринки, это меня ударил...отец.

Воцарилась тишина.

– Хочешь отблагодарить, принеси воды, – просипел я и снова улегся на сиденье.

К моему удивлению, через несколько минут передо мной снова нарисовалась Кристина, протягивающая бутылку с водой.

– Отравила? – пошутил я, жадно отхлебывая.

– Нет! – она не поняла шутки и с ожесточением отрицательно замотала головой.

– Жаль, – сказал я, когда последняя капля воды из бутылки капнула мне на губы, – в любом случае, если ты желала меня отблагодарить, дело сделано, мы квиты.

Она изучала меня взглядом, не понимая, смеюсь я над ней или просто сошел с ума.

– Так что ты здесь делаешь?

– Сажу.

– Ты понял, о чем я.

– Нет, правда, у меня больше нет другой цели. Я не знаю, что делать. – я внимательно посмотрел на нее – А ты? Почему тебя так быстро отпустили?

– Меня не отпускали, – она пожала плечами, – я проснулась, вытащила иглу от капельницы и ушла.

Я лишь усмехнулся.

– Есть хочешь? – спросила она.

– Не отказался бы, – я уже и забыл, когда ел последний раз, желудок вопил от голода.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.